

К 1421220

Александр Васильевич
КРУГЛОВ

ЧИСТАЯ ОТРАДА





**СЛОВЕСНОСТЬ
ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА**



Alex. Koppov

Александр Васильевич
КРУГЛОВ

ЧИСТАЯ ОТРАДА



БОЛОГДА
«Учебная литература»
2010

ББК 84(2Рос=Рус)5

К 84

Составитель *С. Ю. Баранов*

Круглов А. В. Чистая отрада / Сост. С. Ю. Баранов. — Вологда: Учебная литература, 2010. — 320 с.

Книга знакомит юного читателя с произведениями А. В. Круглова (1852—1915), уроженца Великого Устюга. Его детство и ранняя юность прошли в Вологде. Он был известным литератором своего времени, автором многочисленных рассказов, очерков, повестей, романов, стихотворений, сотрудником московских и петербургских журналов. Широкую известность А. В. Круглов приобрёл как детский писатель. Его книги «Приключения Мишки Топтыгина», «Иван Иванович и компания», «Большак», «Новая звёздочка», «Из золотого детства» неоднократно переиздавались и служили пищей для сердца и разума нескольких поколений российских школьников конца XIX—начала XX века. После долгого перерыва творчество Круглова вновь становится доступным широкому кругу читателей. В книге «Чистая отрада» представлены произведения разных жанров и разной тематики. Рассчитана она на детей среднего возраста.

В оформлении обложки использованы картина *В. Е. Маковского*
«Игра в бабки» и рисунок *Е. М. Бём*.

ISBN 978-5-98925-027-1

© «Учебная литература», 2010



**ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ТОПТЫГИНА**

Глава I

Глухой северный лес был родиной нашего мохнатого четвероногого героя. В один из мартовских дней сделался он гражданином этого леса, ещё занесённого глубокими снегами. Но серо-жёлтый зверёк, величиною с двухнедельного щенка, не видел ни матери, ни родившихся вместе с ним братьев, ни пестуна, — потому что появился на свет Божий слепым. Он только чувствовал, что ему тепло и мягко. Прежде чем залечь на зиму, медведица старательно устлала берлогу мхом и листьями. Когда родились детёныши, она каждому устроила «постель» из того же мху и листьев.

Через пять недель глаза у Мишки открылись, и он увидел свою мать, двух сверстников-братьев и пестуна, уже подросшего, молодого медвежонка. Наш герой, как и его братья, был украшен природным белым ошейником. Этот ошейник с первым линянием зверя незаметно расплывается по шерсти, всё более и более теряет свою белизну и, наконец, совершенно исчезает.

Отца наш герой не знал. Самцы-медведи вообще в берлоги ложатся отдельно, хотя и неподалёку от логовища медведицы. Но отец нашего Мишки, рослый бурый медведь, погиб в октябре месяце. Силач Топтыгин не сразу залёг в берлогу. Полежав, ещё не заделав отверстия (лаза) берлоги, он вышел побродить по окрестности (снега пока не было) и наткнулся на охотника. Топтыгин дорого продал свою жизнь: рогатина мужика распоролла ему брюхо, но и мужик, едва добравшийся до деревни, умер через несколько дней.

Пестун — медведица ежегодно выбирает из своей семьи одного медвежонка и не отпускает его от себя до тех пор, пока он не вынянчит её следующих детей. (Примечание автора.)

...был украшен природным белым ошейником — в очень редких случаях белые пятна остаются и у обматеревших животных. (Примечание автора.)

Мишка рос и укреплялся. Ему было весело с матерью и братьями. В берлоге они оставались недолго. Вскоре после того, как наш герой и его братья прозрели, медведица вышла из берлоги. В лесу уже царила весна. На деревьях развёртывались листочки и отливали изумрудом на солнце. Оно становилось с каждым днём всё ярче и жгучее... Ароматом потянуло в воздухе, нагреваемом лучами солнца. Зарыскало мелкое зверьё...

Медведица в глухом месте устроила мягкое логово и поместила там своё потомство. Когда дети ещё подкреплялись, она стала брать их с собою гулять. Медведица строго следила за пестуном, и всякое невнимание, малейшая оплошность с его стороны вызывали гнев матери, которая сильно била лапами «провинившуюся няньку». Как-то медведица, уже в начале мая, задумала переправиться через лесную речку, чтобы погулять на противоположном берегу. Она переплыла речку и в зубах перенесла нашего героя, а другого перенёс пестун. Третий медвежонок остался за рекой. Пестун не захотел было плыть за ним и пустился бегать по нагорному берегу. Малыш, оставленный один, завизжал. Тогда медведица набросилась на ленивого пестуна и надавала ему пощёчин. Он понял свою вину и вернулся за оставленным медвежонком.

Медвежата любили гулять. Хотя и неуклюже, но довольно свободно бегали они за матерью, сопровождаемые пестуном. Они резвились, кувыркались. Иногда мать нарочно сталкивала их в воду, чтобы они выкупались. Из воды они вылезали сами, или их вытаскивала мать. Малышам было приятно после купанья лежать на солнышке и облизывать свою шерсть. При этом они тихо урчали, выражая удовольствие. Как-то раз наш герой недосмотрел и упал в неглубокую яму. Мать вытащила его, но надавала ему шлепков: «вперёд-де смотри хорошенько, не попадайся в беду».

Медведица учила их лазать по деревьям; лазанье детёнышам тоже очень нравилось. Но где бы ни была с детьми медведица, она зорко ко всему приглядывалась и чутко прислушивалась. Медведи вообще видят и слышат хорошо.

При тихой погоде щёлканье курка медведь слышит шагов за пятьдесят и более.

Во время прогулок медведица относилась подозрительно ко всякому шороху, наостряла уши и осматривалась во все стороны. Иногда же она влезала на дерево до самой верхушки и оттуда производила свой тщательный осмотр.

Однажды она, это было ещё в конце апреля, вышла с детёнышами на поляну. День стоял ясный, тёплый. Она легла вблизи густого ивняка. Два медвежонка принялись играть с матерью, стараясь укунить её. Она отталкивала их лапой, и они разлетались в разные стороны. Наш герой отыскивал какой-то обрубок и увлёкся вознёю с ним. Медвежата поуркивали от удовольствия.

Вдруг какой-то шорох возбудил подозрение медведицы. Она быстро поднялась на ноги и осмотрелась вокруг. Медвежата присели на корточки и с любопытством глядели на мать. Несколько минут она стояла как вкопанная, глядя упорно в сторону ивняка, поводя ушами. Наконец она убедилась в ошибочной тревоге и, уверенная в безопасности, легла на прежнее место. Детёныши принялись сосать её, а потом начали бороться друг с другом. Однако медведица часто поднимала голову и оглядывалась в сторону густого ивняка... Прошло около получаса, она окончательно успокоилась и лёгким криком позвала пестуна, который сейчас же явился откуда-то. Тогда она, оставив на его попечение малышей, растянулась и заснула.

Отправляясь на добычу, она оставляла детей под надзором того же пестуна. Впрочем, она не уходила очень далеко. За неимением мясной пищи она питалась с детьми ягодами, молодой травой, почками, даже мохом. Жуки, слизняки являлись лакомством... Это не должно удивлять, потому что медведь животное всеядное, и его зубная система показывает, что он должен питаться преимущественно растительной пищей. Медведь весьма неразборчив в пище. Месяцами

довольствуется он растительной пищей, наедается всходами ржи или сочной травой, ест также почки, овощи, жёлуди, грибы, любит лакомиться муравьями, пчелиным мёдом. Один учёный путешественник рассказывает, что в лесах гор Малого Хингана медведь сворачивает в июне и июле, когда ещё нет ягод, ветром поваленные деревья и ищет в их гниющей сердцевине жуков и личинок. Только что начинают спеть ягоды, как он принимается за них, а также пригибает к земле плодовые деревья и кустарники, чтобы достать их плоды. Когда хлеб, в особенности овёс и лён, начинает наливаться, медведь появляется на полях, садится на землю и в таком положении ползёт туда и сюда, чтобы с большим удобством подносить ко рту колосья.

В конце мая медведица напала на корову и задрала её. Это был пир для всей семьи.

Г л а в а I I

Виталий Осипович Пыхачёв пил на балконе утренний чай, когда явился управляющий с какими-то бумагами.

— Что это у вас, Николай Петрович? — спросил Пыхачёв.

— Да вот счета, о которых мы с вами вчера говорили, — ответил управляющий.

— А-а! Садитесь. Я сейчас буду готов... А что нового?

— Да ничего... А впрочем, вот новость, если хотите: Макар медвежонка мне подарил.

— Где он его добыл?

— В нашем лесу.

— Большой?

— Месяца три или с небольшим три... Забавный зверюга!

— Какой медвежонок? Где он, Николай Петрович?

Малый Хинган — горы на Дальнем Востоке.

С этим вопросом на балкон вбежал мальчик лет одиннадцати, в кадетской курточке, с руками, запачканными в земле.

— А, будущий Суворов! Наше вам почтение! Э-э... руки-то у вас какие!

— Я цветы сажал... Где медвежонок? Какой? — повторил мальчик, взбираясь на перила балкона вблизи стула, на котором сидел управляющий.

— Обыкновенный медвежонок... наш русский... Михаил Топтыгин.

— А где он?

— В сарае пока сидит.

— Макар его поймал?

— Да, Макар.

— А как?

— Ну, это долго рассказывать, господин генерал. Надо вот счета проверить с вашим папашей. А вы идите к нам и расспросите обо всём Макара. Кстати, и товарку найдёте себе: моя Наташа тоже пристаёт — покажи да покажи.

— А Макар там?

— Там.

— Я побегу... Можно, папа?

— Иди... только осторожно. Хотя и маленький, а всё же коготочки есть. Царапнет — памятка будет хорошая... Он у вас привязан? — прибавил Пыхачёв, обращаясь к управляющему.

— Привязан-с! На цепи даже. Моя Евгения Семёновна трусиха ужасная.

Петя побежал в сад, а оттуда на двор, к управительскому флигелю.

Кадетская курточка — тёмно-зелёная форменная курточка учащихся кадетских корпусов (начальных военно-учебных заведений).

Суворов Александр Васильевич (1729—1800) — выдающийся русский полководец.

Флигель — постройка, стоящая отдельно от главного дома усадьбы.

— Где медвежонок? Где? — обратился мальчик с вопросом к кучеру, который вёл ковать лошадь.

— А в сарае, барчук. Макар, а Макар! — крикнул кучер.

— Ну? — отозвался кто-то хриплым голосом из каретника.

— Иди сюда. Барчук вот желает Мишку посмотреть... Кажи, брат!

Из каретника вышел невысокого роста, но широкоплечий, коренастый мужик, в ситцевой рубахе и без шапки.

— Здравствуйте, барчук... А как насчёт этого Николай Петрович и барин? Если дозvoлят...

— Можно, можно... Я уже спрашивал! — ответил Петя.

— Ну, коли так, пойдёмте.

— Надо и Наташу позвать! — сказал Петя. — Она тоже хочет посмотреть. Ты отпирай, а я сбегаю за Наташей.

Девочка была рада приглашению посмотреть на Мишку.

— Только тише, — сказала она, — а то мама не пустит: она ужасно боится.

— Такого-то маленького! — улыбнувшись, воскликнул мальчик.

— А она боится.

— Фи!

Они побежали к сараю. Макар уже отпер дверь и поджидал детей.

— Макар, — крикнул Петя, подбегая, — ведь он, маленький, не опасен?

— Известно, не съест! — ответил Макар. — А всё же пальца в рот не клади. Одинова на деревне парнишка вздумал дразнить медвежонка, так он его так царапнул, что чуть глаз не вон. У самого глаза пришлось-то.

Каретник — сарай для повозок и упряжи.

Одинова — однажды.

— Такой маленький? — удивлённо произнёс Петя.

— Даром что маленький... всё же зверь. Ну, а если ласково с ним — ничего... он тоже ласкается.

Макар отворил дверь, и все вошли в сарай. Несмотря на свою храбрость, будущий Суворов всё-таки шёл несмело, прячась за Макара. Наташа остановилась в дверях.

— Идите, барышня, не бойтесь: на цепочке он ведь... ничего! — успокоительно промолвил Макар.

В углу, на куче сена, привязанный цепью к стене, лежал медвежонок, покрытый буроватой лохматой шерстью. Белый ошейник тянулся спереди до половины лопатки, где и разделялся на две ветви: одна из них поднималась за ухом, а другая тянулась назад и опять загибалась вперёд. При виде вошедших медвежонок поднялся на толстые короткие ноги, потом встал на задние лапы и оскалил белые, крепкие зубы.

— Ай-ай! — испуганно воскликнула Наташа и попятилась назад.

— Он привязан... чего ты! — сказал Петя с лёгкой улыбкой, но, однако, невольно и сам замедлил шаги.

Макар подошёл к Топтыгину.

— Ну, чего ты, чего, Мишук!

Медвежонок узнал Макара, опустился на все лапы и приветливо заурчал.

Макар погладил его.

Мишка лизнул даже его руку и почавкал губами.

— Что, брат, поесть тебе? Ишь, лакомый!

— Ты его совсем не боишься, — сказала Наташа, стоявшая всё ещё вдалеке.

— Мы с Мишуком хорошие знакомые, можно сказать — приятели! — отозвался, смеясь, Макар.

— Разве он у тебя давно? — спросил Петя.

— Да не особенно, а всё же неделя будет... Я его кормил... как же ему не знать... что, Мишук, а?

Макар похлопал медвежонка по спине.

Такое обращение со «страшным зверем» ободрило детей и придало им храбрости. Петя подошёл к Макару. Наташа тоже подвинулась ближе.

— А вы, барышня, хлебца принесите да и покормите, вот и подружитесь с Мишуком-то,— сказал Макар.

— Я сейчас.

Девочка побежала за хлебом.

Петя подошёл к медвежонку настолько, что мог, протянув руку, погладить его.

— Какой он смешной! — заметил мальчик, рассматривая зверя.— Голова как у собаки. Морда же точно обрубленная. А ступни, словно как у человека... Сколько ему времени?

— Чать, четвёртый месяц пошёл. А ступни, действительно, как бы человечьи. Он и ходит по-человечьи, ступая на всю подошву. Взгляните на медвежий след, особенно задних ног, совсем сходен с человеческим.

— Они ведь скоро растут?

— Скоро. Дайте-ка ему за полгода зайти; тогда моё почтение: силища у него большущая.

— А к году?

— Ну, годовалый — совсем медведь!.. Злющий становится! Особенно когда мяса попробует. Тогда опасно и держать... Знаете, барчук, был случай: медведь-то, тож молодой ещё, как хватил лапой, так и зашиб корову.

— Сразу?

— А вы думали как? Мишук не любит баловаться... Озлясь, он деревья так ломает, что будто и не деревья, а щепки. Сильный зверь! Да вот вам: стоямя на дыбах, он в передних лапах здоровенного быка сдерживает... Чего ещё!

Наташа принесла хлеба и чёрствую булку.

— Ну, вот, Мишка, тебе и гостинец,— промолвил Макар.— Идите, барышня, идите... Мой Мишка любит хлеб, и кто его кормит, тех он не трогает. Да и вообще он не так страшен... Что вы трусите-то?.. Вот будет по двору бегать, привыкнете.

— Разве его спустят?

— Ужли так держать!.. Покамест ничего, можно... что дальше...

Наташа, хотя не без робости, но подошла к медвежонку и бросила ему кусок хлеба. Он схватил его и жадно принялся есть.

— Как ест-то! Видно, голодный! — заметил Петя.

— Да, не больно сыт... а и то сказать: и аппетит у него здоровый. Что, съел уже?

Наташа бросила ещё хлеба. Когда Мишка съел и этот кусок, он потянулся к девочке. Та струсила и бросила медвежонку всё, что держала в руках. Он уркнул довольно и зачавкал губами.

— А что пить ему: воду? — спросила Наташа, глядя на Мишку, который, что называется, за обе щёки уплетал хлеб, а потом принялся и за булку.

— Да не квас же для него варить! — рассмеясь, ответил Макар.— А он любит и водочку... и от молочка не откажется... Мишка — лакомка. Медком попотчуйте, поест с великим удовольствием.

— Разве он пьёт водку? — удивлённо воскликнула девочка.

— Э-э! Да ещё как любит! Положим, этот ещё глупыш и вкусу не знает... а большие, которые привыкли, так ревут даже от удовольствия. Раз на водку и поймали Топтыгу мужички.

— Как на водку? — спросили Петя и Наташа в один голос.

— А так... Почал овсянник в поле ходить да хлеб травить. Вот мужички и поставили ведро водочки. Он как пришёл, да зараз и выпил. Понятное дело, охмелел и заснул.

Почал — начал.

Овсянник — медведь средней величины, любящий лакомиться молодым овсом, малиной, кореньями.

А тут с ним и покончили... Только дураки! — закончил Макар.— Стоило водку ему дарить: лучше бы сами выпили, а его свинцом угостили бы. Видно, были трусы, вроде вас, барышня!

Наташа покраснела.

— Да я его... не боюсь,— проговорила она тихо.

— Оно и видать... Ну-ка, Мишка!.. Ну!

Медвежонок съел весь хлеб, закусил булкой и потянулся опять к девочке. Цепь не пускала его. Он обозлился и начал грызть её.

— Полно, Мишенька, полно,— произнёс Макар,— зубы испортишь!

Медвежонок продолжал грызть цепь и хватил её раза два когтями.

— Ишь, злится!

— Какие у него когти-то! — опять промолвил Петя.— Нетрудно такими и задрать.

— Да, коготочки на славу. Сызмальства ими работают мишуки. Знаете, чуть было он коня не сгубил совсем.

— Какого коня?

— Да брата моего. Это ведь Алексей поймал Мишку-то.

— Твой брат?

— Братан мой.

— А как же он поймал?

— Да в лесу случайно встрел... Верхом ехал... И наткнулся на медвежат. Пестун-то куда-то отлучился, надо быть. Или они отошли далече. Только одни были... Испугались — и на дерево. А братан и ухватил одного. Говорит, всех бы забрал, да почудилось, что кто-то идёт... Думаю — «она», и давай во все лопатки удирать... А Мишка-то хотел когтем в шею лошади запустить... Ну, тогда беда: сбила бы она брата, и — прощай!

— А то медведица была, шла-то?..

Встрел — встретил.

Надо быть — наверное.

— Не должно... Потому, она бы догнала... да если бы была близко и не прозевала бы... а, должно, пестун. Он сразу-то и не понял... с остальными возился.

— Разве медведь может догнать лошадь?

— Э-э! Как ещё может-то, если в гору... задние-то ноги длиннее, ему и способно. Видели вы иноходцев, барчук?

— У папы был иноходец.

— Ну, вот! А Мишка тот же иноходец: при беге становится то на обе правые, то на обе левые лапы. Из стороны в сторону переваливается, а несётся вскачь. Человека-то, нечего и говорить, догонит, да и лошадь крестьянскую догонит... особенно в лесу.

— А всё-таки не тронул лошади медвежонок? — спросила Наташа.

— Нет. Алексей, как отъехал чуточку, так кушаком и повязал лапы. Да уж это так ему... сдурова досталось... А то бы, наткнись-ка на медведицу с детьми, плохо пришлось бы.

— А ты бивал сам медведей?

— Вона!.. Сколь разов охотился на них... Ну, Мишка, прощай... Посиди ещё маленько, мы тебе нового угощения принесём... Жирей, да не жалься на нас Богу... Идём, барчук... У меня ведь дело есть: надо ружьё собрать для Николая Петровича.

Уходя, Петя расхрабрился и погладил медвежонок, причём Мишка захватил губами рукав курточки мальчика.

— Наташа, погладь и ты, — предложил Петя.

Но девочка отказалась.

— Я... потом, — сказала она.

— Вы его почаще кормите, так он и привыкнет к вам, барышня, — промолвил Макар. — Будет ходить за вами, словно собака.

Иноходец — лошадь, движущаяся особым скоком, попеременно вынося и опускающая то обе левые, то обе правые ноги.

Сдурова — по глупости, случайно.

Сарай заперли. Мишук поурчал, погромел цепью, потом улёгся и уснул.

Макар и дети отправились в каретник.

Глава III

— А ты много медведей убил? — задал вопрос Петя Макару, принявшемуся за осмотр ружья.

— Не считал... а то и так сказать: со счёту сбился, барчук! — ответил Макар.

— Ну, а как ты это?.. Расскажи, как ты убивал!

— Да как убивал. И стрелял, и на рогатину саживал... всяко.

— И из берлоги добывал?

— И это было дело... Тут тоже надо осторожку иметь!

— Расскажи, Макар!

— Да что тут рассказывать... Пошли мы, стало, на выслеженную берлогу... Вот, подходим, и давай выживать зверя.

— Как выживать?

— А, примерно, рогатину запустишь и почнёшь колоть зверя.

— Он и выскочит?

— Ну, не сразу. Рычит, а не объявляется... А всё же пройдёшь его, вылезет... Вот и тут так было: вылез Мишка... да большой-пребольшой, матёрый, стало... Ну, как он показался, я ему сейчас и пулю... Сразу карачун. А Осип, сосед, с рогатиной ждал. Если бы что — он бы на подмогу. Да свалился. Вот ладно. А Осип и говорит: дай-ка я слазаю в берлогу — какое такое домовище у косолапого. Я упреждал,

Осторожку иметь — соблюдать осторожность.

Стало — стало быть, следовательно.

Карачун — конец, гибель.

Домовище — здесь: жилище.

а он не послушал... Только спустился он этак по грудь, да и кричит: ой, выволакивай!.. Выволок, а на нём и лица нет... Что там? — спрашиваю.— Шевелится, говорит, кто-то. — Почали опять выживать... Кряхтит, а не лезет... Взяли кол, обтесали и давай буравить... Не любо показалось, полез... Пестун оказался, да крупный... Двухгодовалый, должно быть. Порешили и с ним. Ну, говорит: коли пестун, значит, и детёныши есть. Надо добывать. И спустился я в берлогу. Такая большая... хоть человеку жить, и то не тесно. И тепло таково. Словно изба натопленная. Опустился я и пялю глаза, гляжу — словно собачки, лежат медвежата и при-таились. Дотронулся я до одного — заурчал, а другой даже и зубы оскалил. Ах вы, мелюзга этакая! Защищаться удумали! Ну, я вылез, и стали мы с Осипом берлогу разрывать. Поразрыли, поосветили. Мы оба спустились и забрали медвежат, целая четверня была!.. Вот, барчук, на всё нужна опаска.

— А что, Макар, — промолвил подошедший кучер, слышавший конец рассказа, — правда ли, что у медведей князья есть такие, медвежьи князья, так что ли сказать?

— Это белые-то? Называют их князьями... верно.

— Белые медведи на море живут, — сказал Петя.

— То, барчук, иные. А это лесные, да белые... Их князьями зовут. По виду они самые небольшие, но злючие-презлючие. Самому мне не доводилось видеть, а мой упорный дедушка встретился с таким и рассказывал.

— Что же он рассказывал?

— Да вот насчёт встречи, стало. Шёл он по увалу... К закату дело-то... Идёт и вдруг видит — за утёсом медведь ходит, и такой небольшой медведь-то... Дедушка, царство ему небесное, был лютый охотник. Не мог пропустить... Начал

Увал — вытянутая возвышенность с плоской вершиной и пологими склонами.

скрадывать медведя. Подошёл к самому утёсу, поглядел и видит: вместо одного-то — их шесть штук... И один-то весь белый, как кипень, только на гривенках у него два небольших чёрненьких пятнышка... Ну, где же тут со всеми: и сама — матёрая, и князёк, и пестун... и детёныши!.. Зло взяло дедушку, а всё же поопасался. К тому же и устал очень... целую неделю в лесу проходил, харчей давно не стало... поослаб... А долго, говорит, не мог забыть: жаль, что нельзя было князька подстрелить.

— Значит, не враки, а то я думал, врут про князьков, — проговорил кучер.

— Не, не, не враки! — подтвердил Макар. — Сущая правда. Только редки они... Из скольких охотников, може, одному приводилось видеть. Да ещё вот, к слову пришлось: давно было... попал князёк в ловушку.

— Разве можно поймать в ловушку? — с удивлением спросила Наташа.

— А ещё бы! Вы думаете, что медведей только стреляют? Их всяко, барышня, промышляют... И ловушки ставят. Зверовщики отлично знают медвежьи тропы, где он ходит, стало быть. Вот на таких тропах и ставят треугольник из толстых плах. На каждой его стороне вбиты гвозди с зазубринами снаружи.

— А разве медведь не увидит его? — перебил Петя.

— Эва! Да нешто его поверх поставят? Тогда и резону нет ставить. А его, значит, закопают в приготовленные канавки и мохом, листьями закладут... или хвоей... чтобы незаметно было. И надо эту орудину дома устроить, а не на месте, у тропы, чтобы щепок не насорить. Мишка сообразит и осторожным будет. Надо всё сделать в аккурате. Ну вот, медведь, идя вперёд или обратно по тропе, какой-нибудь лапой да попадает на гвозди и заревёт. Начнёт он

Скрадывать — подкрадываться к зверю на расстояние выстрела.

Кипень — белая пена на поверхности кипящей воды.

В аккурате — тщательно, точно.

освободиться, да и другой и третьей лапой попадёт, а то и всеми завязнет. Вот и попал таким манером князёк, и его ещё живым застали и доби́ли.

— Да-а, вот оно что... всякими штука́ми мишку изводят! — проговорил кучер, почёсывая голову.

— На разные манеры. А тебе не приводилось охотиться?

— Нет. Раз только мы, партией, наткнулись на медведя. Да уж он был старый-престарый... и зубы все истёрты, когти обломаны. Сухой... Он и берлоги не мог сделать и лежал меж деревьев. Мы его убили. Он и не противился даже. И пользы-то никакой: шерсть рыжая, жёсткая... вся прядями и висела. Убивать-то даже не стоило, да так уж... думали: всё же зверь... чать, много вреда ранее наделал... чего щадить?

— А долго ли медведь живёт? — любопытствовал Петя. — Дольше ли собаки?

— Гораздо дольше, барчук! Говорят, что лет сорок выживает иной. Да вот недавно ещё поповский сын говорил, в книжке вычитал: где-то медведь ручной, стало быть, на пятидесятом году подох. Вот оно!

— Значит, и этот Мишка может дожить до пятидесяти лет! — воскликнула Наташа.

— Известно. Да только его убьют раньше. Кому нужна шкура такого инвалида!

Макар вдруг усмехнулся и качнул головою.

— А что я припомнил, — произнёс он, обращаясь не то к кучеру, не то ко всей компании, — был случай со мной. Думал я, смерть моя пришла, а Бог спас... только страхом отделался, да заплевала всего меня проклятая медведица.

— Отчего же ты её не убил? — спросил Петя. — Ружья не было?

— Ружьё-то было, да пуль не было. И увидел-то я её поздно. Обмер со страху и ружьё выронил.

Чать — чай, по-видимому, наверное.

— Верно, она была сыта, что не тронула. Говорят, сытый медведь не трогает человека,— заметил кучер.

— Уж кто её знает. Коли не струсит другой да испугает сам, так медведь удерёт со страху. А тут я обмер с перепугу. Да и когда она с детьми, то шибко зла.

— Что же ты сделал?

— Да что: упал я наземь и дух затаил. Не шевельнусь, лежу.

— А она?

— А она, треклятая, перво-наперво ружьё в щепы изломала.

— Ишь, силища!

— Да что ей ружьё? Игрушка! Она деревья ломает как лучину. А то ружьё!

— Ну, ну, и что же дальше? — торопил Петя.

— Сломала она ружьё и давай меня обнюхивать. Обнюхала и начала ворочать... с боку на бок, и лицом к земле, и на спину опять повернёт. А я и дышать не смею.

— И не смотришь? — спросила Наташа.

— Ну, ещё бы смотреть! Да разве она бы тогда меня оставила? Я уж только Богу молюсь мыслями: помилуй, Господи! Вот она ворочала, ворочала и давай на меня плевать... Прямо в лицо... И откуда у неё слюны столько набралось? Всего заплевала! Залепила глаза... словно тинной лицо залепила. Оплевала и отошла. А я и шевельнуться боюсь, и взглянуть не смею. И точно: прошло несколько минут — опять подошла, раза два перевернула, поплевала и отошла... А я всё лежу. И, надо быть, не менее часа пролежал, а она не подходит.

— А ты не дышишь?

— Ну, как не дышать... только потихоньку... чуть-чуть продохнусь и опять затаюсь. Лежал, лежал ... Слышу, будто ушла... хруст по лесу. А боюсь встать. Открыл немножко

Надо быть — наверное.

глаза: нету её... опять закрыл и лежу. Тихо. Я побольше раскрыл глаза... оглянулся — нет. Я приподнялся — нет её... Перекрестился, вскочил и — давай бог бежать... Ноги трясутся, и сам дрожу. Бегу наугад и оглянуться не смею. Добрался до речки, за которой деревня наша, и упал без сил. Тут меня подняли и перевезли в лодке. Вот оно какое дело, барчук!

— Да, задала она тебе страху! — протянул кучер.

— А правду, Макар, что медведь в берлоге сосёт лапу и этим питается?

— Говорят, барчук, что сосёт, только где уж этим питаться? А я думаю, он их мусолит потому, что на ступнях кожа линяет... Вот он и сосёт, да ещё причмокивает... А впрочем, и то сказать...

Послышались шаги и раздался голос управляющего:

— Макар, ты здесь?

— Здесь, Николай Петрович.

— Что ружьё? Можно наладить?

— Можно, можно.

Подошёл управляющий. Кучер поднялся с саней, на которых сидел.

— Ба, и вы тут тоже! — воскликнул Николай Петрович, увидев детей. — С Макаром о медведе беседуете? Ну что, видели его?

— Видели, папочка! — первая отозвалась Наташа.

— Страшный?

— Совсем не страшный! И не большой... Словно собака, — сказал Петя. — Я его гладил.

— Какой храбрец! — с улыбкой промолвил управляющий.

— Его бы спустить... Пусть бегаёт, — сказал Петя.

— Погодите, генерал, спустим, только нельзя сразу на двор... а как-нибудь оградить надо... пугать начнёт.

— Это точно... Коней, примерно, — заметил кучер.

— У нас ничего, бегал так-то... по деревням даже... с ребятёнками играл ... а собаки так охотились на него... Загонят и лают, — промолвил Макар.

— А чем кончилось? — спросил Николай Петрович.

— Да подох... С чего подох, неизвестно...

— Всё равно пришлось бы потом убить. К году они опасны.

— Это точно... Обозлеваются... Глядишь, и задерёт телушку либо барана... А такие-то, как этот, ничего... Вот, Николай Петрович, я насчёт ружья...

Макар начал объяснять управляющему что-то про ружьё. Кучер пошёл на сеновал, дети отправились в сад. Петя захотел показать девочке свои цветы.

А Мишка продолжал спать в сарае и тихо урчал во сне. Что он видел? Быть может, лес, свою мать, братьев... Да, наш герой попал в неволю.

«Наш герой?» — слышу я вопрос читателя.

Конечно. Ведь брат Макара поймал именно нашего мохнатого героя, о котором я рассказывал в первой главе настоящей повести... Медведица не простила пестуну его небрежности, когда он вернулся домой с двумя медвежатами. Она так расправилась с ним, что шерсть его летела в разные стороны и он орал благим матом от боли.

Глава IV

Мишка несколько дней грустил по родному лесу, по матери, по братьям, особенно по воле. Хорошо было ему жить в лесу: бродили они по чаще и полянам, кувыркались, лазали по деревьям, купались в ручьях, взбирались на пригорки; но вот вдруг его схватили, заперли в хлев, а потом повезли куда-то и посадили опять в тёмное место и уже на железную цепь. Сначала он боялся людей, особенно Алексея, который сильно побил его дорогой; но затем Мишук начал с любопытством разглядывать тех, которые приходили к нему в хлев, приносили хлеба, картофеля, воды с молоком. Он начал привыкать к людям, решив, что они не страшны и не враги его, потому что кормят и поят.

За время, прожитое в деревне у Макара, он познакомился со всеми ребятами, часто посещавшими его; и тех, которые более других приносили ему хлеба и разной снеди, он приветствовал ласковым урчаньем; каждое новое лицо он встречал подозрительно, поднимался на дыбы и порывался. Но стоило дать ему хлеба, он смирялся и становился в хорошие отношения к пришедшему.

В новом месте, у Пыхачёвых, он скоро освоился, и когда его посадили в просторный сарай, спустив с цепи, он начал лазать по бревенчатым стенам и как-то раз ухитрился выбраться на крышу через слуховое окно, скатился с неё и свалился на землю вблизи стоявшей лошади. Та фыркнула и как безумная понеслась по двору, перескочила через изгородь и унеслась в поле. Собаки бросились с лаем на Мишку. Он прижался к колодцу у забора и, оскалив зубы, принял оборонительное положение. Собаки продолжали лаять и, видимо, хотели напасть на него, но боялись. Одна из них, более смелая, подскочила близко к Мишке и поплатилась за дерзость. Медвежонок так хватил её лапой, что она перевернулась и с визгом отскочила в сторону. Остальные испуганно отбежали далее. Выскочившие люди схватили Мишку и снова посадили в сарай.

— Надо на цепь его опять! — сказал Пыхачёв.

— Папа, нельзя же ему всё сидеть взаперти, — сказал Петя, — он подохнет!

— Ну, не подохнет! Да ведь нельзя же и позволить ему бродить по двору, огородам... Он всех животных перепугает и бед натворит. Представь себе, что лошадь была в упряжи, — она изломала бы экипаж... А если бы кто-нибудь ехал, дети бродили бы в это время по двору?

Дети начали просить его не мучить Мишки.

— Ну, посадить его на цепь, но не в сарае, а на вольном воздухе.

— На дворе нельзя.

— А за огородом — пустырь, папа... У пруда... Там ему отлично!

— Ну, там ещё пожалуй!.. Да постой, как это мы с тобою распоряжаемся чужим имуществом? Ведь медведь не твой, и не мой, а Николая Петровича... что он ещё скажет?

— Я его попрошу, папа!

— Проси.

— Тогда можно у пруда?

— Можно.

Николай Петрович охотно согласился на просьбу Пети, потому что пустырь находился далеко от флигеля и переселение туда Мишки окончательно успокаивало жену управляющего.

— Садите, садите,— сказал он и добавил: — Собственно говоря, не знаю, зачем я взял медвежонка у Макара, только хлопоты... а на что он? Надо будет его продать... или, всего лучше, отдать Макару.

— Нет, Николай Петрович, пожалуйста, не отдавайте!.. Пока я здесь, не отдавайте!

— Забава?.. Ах вы, генерал!.. Ну, ну, ладно: до августа подержу... а там будет видно!

Мишку перевели на новое место. Там ему показалось очень хорошо: хотя он был и на цепи, но мог бегать на большом пространстве, потому что цепь с кольцом надевалась на верёвку, протянутую от берёзы до полуразвалившейся бани. На ночь Мишку запирали в баню, а иногда оставляли и на воле.

Петя и Наташа беспрестанно прибежали к нему, принося ему то хлеба, то булки, то рыбы или молока и воды с творогом. Раз как-то они принесли Мишке кофейные ополоски. Он с аппетитом выпил всё и съел в горшке кофейную гущу. Он остался очень доволен и, очевидно, истребил бы охотно ещё горшок такого вкусного питья.

— Мишка, да ты кофейник! — смеясь, кричали дети.

Мишка привык к ним, и они совсем перестали бояться его. Даже Наташа подходила к нему, кормила его из своих

рук, гладила его по спине и голове. Он лизал ей руки, как собака.

— Он совсем, совсем не страшный! — говорила девочка. — Он ласковый!

Она привязалась к нему больше, чем Петя.

Каждое утро, напившись кофе, она бежала к Мишке, неся ему остатки кофе, хлеба с маслом и сахару. Только мяса она и Петя никогда не давали медвежонку, чтобы не пробуждать в нём кровожадных инстинктов.

Мишка прекрасно знал время и, усевшись на задние лапы, поджидал своих друзей. Он выражал своё нетерпение недовольным урчанием. Зато, увидев издали Наташу или Петю, он громким визжанием выказывал свою радость и начинал от нетерпения бегать по верёвке взад и вперёд.

Раз девочка принесла ему кусок хлеба, намазанный мёдом. Мишка, любитель мёда, пришёл в восторг, съел хлеб, облизал обе лапы, в которых держал хлеб, начал даже лизать землю, где лежал хлеб с мёдом.

— Любишь, любишь! Ах ты, лакомка!

Мишка тянулся с цепи, чтобы достать до девочки, которая отошла от него. Он требовал ещё мёду, и когда Наташа пошла, не давши ему ничего больше, он осердился и заметался на цепи.

— Разлакомила ты его! — сказал Петя Наташе.

Вернувшись домой, Петя рассказал отцу о том, с каким восхищением ел мёд Мишка.

— О, ещё бы! — промолвил Виталий Осипович. — Медведь ради мёда на всякие хитрости, на всякий риск пустится. Это для него самое приятное кушанье. В этом отношении он страшный враг для пчеловодов. Я где-то читал, что один медведь, прежде чем его поймали и убили, уничтожил более ста ульев.

— А разве пчёлы его не жалят? — спросил Петя.

— Как не жалят! Но мёд-то больно вкусен. Он ревёт от боли на весь лес, катается по земле, стараясь лапами

сорвать с морды и с тела разозлённых насекомых; иногда ему это всё-таки не удаётся, тогда он несётся как безумный, без оглядки, и если ему попадётся речка, бросается в неё и тем освобождается от врагов.

— А потом опять идёт к ульям?

— Опять идёт. Он большой лакомка.

— Но ведь можно, папа, улья и высоко ставить.

— Так и делают. Но ведь он отлично лазает. Пчеловоды оголяют ствол дерева на большую высоту и окружают крепким частоколом.

— Ну, и что же тогда?

— А то, что он нередко разрушает частокол или перелезает с изумительным искусством. А когти у него такие крепкие, что он и по гладкому стволу лазит легко. Он и на склоны скал взбирается...

— А если его застигнут в улье, что тогда?

— Да вот наш старый пчеловод Мартын и застал раз его за таким делом.

— И что же?

— Да скатился по стволу на землю и убежал. Ему спрыгнуть ничего не стоит. Ты не думай, что он неловок. Так кажется... А он преотлично бегаёт.

Дня через два после этого Петя с кучером и ещё одним работником пошли купаться. Вдруг мальчику пришла мысль взять с собою Мишку. Ни управляющего, ни самого Пыхачёва не было дома. Работник долго не соглашался, боясь Николая Петровича, который строго обходился с рабочими. Но Петя начал приставать, да и кучер повлиял на решимость рабочего, заметив ему:

— Возьмём... ведь на цепи... Что поделает? Боишься не удержать, что ли?

— Ну, вот ещё!

— Так чего же... возьми... Видишь, барчуку очень хочется.

Мишку взяли. Он несказанно обрадовался сюрпризу и быстро побежал вперевалку, натягивая цепь.

— Ишь, как его рвёт-то! — сказал рабочий по имени Василий.— Маленький, а гляди — сила!

— Дай ему подрасти — увидишь!

Появление медведя на улице деревни, через которую надо было проходить, произвело переполох среди собак: одни прятались в подворотню, другие с лаем бежали за медвежонком, который оборачивался, скалил зубы и раза два привставал даже на задние лапы, как бы вызывая более смелую на бой.

— Иди, Мишка, иди! Нечего драться! — говорил Василий и тащил медвежонка.

Тот опять принимался бежать вперевалку, оглядываясь назад.

Домашние птицы в испуге кидались в сторону. Ребятё с криком и визгом бежало за медвежонком, который начал озираться не то испуганно, не то в недоумении. Он несколько растерялся.

А ребята кричали:

— Мишку ведут, мишку!

— Мишка, покажи, как бабы по горох ходят!

— Мишка, хочешь водки? Ха-ха-ха!

— Он ещё махонький! С нашего Буянку, не боле!

— А ну, погладь его!

— Ишь ловкий, погладь сам!

У отвода пасся на верёвке козёл. Увидев медвежонка, а то и почуяв его (потому что запах медведя животные слышат издалека), козёл сорвался с верёвки и с громким бляеньем понёсся к речке, не чувствуя под собою ног от страха.

— Какого маленького, а пугаются,— заметил Петя.

— Запах чуют, барчук! Почём знают, какой... а чуют, что медведь. Что мыши кошку: махонькая, а запах услышат и пропадают!

С реки ехал верхом парень. Ещё за несколько шагов лошадь вдруг наострила уши, поднялась на дыбы и как

Отвод — ворота в околице или в полевой изгороди.

ошалелая шарахнулась в сторону, понеслась в рожь... Как ни старался парень, ничего не мог сделать: лошадь дрожала и неслась вперёд.

— Ай да Мишка! И напугал же ты всех! — смеясь, сказал кучер.

Василий был недоволен.

— На беду мы его взяли. Пожалейтесь барину, либо Миколаю Петровичу, влетит мне здорово! — произнёс он.

— Кто пойдёт жалиться? — успокоительно возразил кучер. — Разве убил кого?

— Если пожалуются, я на себя возьму вину, — промолвил Петя.

— Вот это ладно, — обрадовавшись, сказал Василий и весело крикнул медвежонку:

— Айда, Мишка! Будем купаться сейчас! Ну, бегом!

Он побежал. Мишка понёсся галопом, не отставая от рабочего. Пришли на речку.

— Как же быть с Мишкой? — спросил Василий. — Надо кому-нибудь стеречь.

— А вот привяжем его к лодке, пусть барахтается в воде. Покупаться и ему приятно, — предложил кучер.

— А в самом деле! — подхватил Петя. — Его надо выкупать. Цепь порядочной длины, и пусть на привязи купается.

— А заорёт он... испугает других?

— Так ведь и на берегу реветь-то может... ещё хуже.

Василий согласился с доводами. Все трое разделись и потащили Мишку в воду. С горы медведям ходить неудобно. Мишка поторопился и чуть не перекувырнулся через голову.

Он охотно влез в воду, но когда Петя, кучер и Василий отплыли от него далеко, он начал порываться за ними... Он орал, кусал цепь и начал грызть зубами лодку.

— Не балуй, Мишук... лодка чужая! — крикнул Василий, переворачиваясь на бок в воде.

Но Мишка знал, что он делает. Он бросил грызть лодку и принялся за верёвку, которой был привязан.

Петя первый увидел это.

— Он перегрызёт!.. Как мы не догадались этого! — закричал он, и в то же время боялся плыть к плоту, чтобы не попасться навстречу Мишке, если он оторвётся.

— Ничего! — промолвил кучер.

Но в этот миг верёвка была уже перегрызена, и лодка отчалила.

Мишка ревел и тащил её к другому берегу, а лодку тянуло по течению вниз.

— Оторвался!.. Оторвался!..

Невдалеке купались деревенские мальчишки. Увидев медвежонка, плывущего с лодкой, они с визгом бросились к берегу.

— Ай, медведь!

— Братцы, мишка плывёт!

Василий и кучер, работая руками наотмашь «по сажёнкам», кинулись наперерез и успели ухватить лодку.

— Тащи к берегу, Вася!

Они вели лодку, работая уже каждый одной рукой. Медведь ухватился лапами за лодку, накренил её, каким-то манером перекувырнулся и очутился в лодке.

Он не полез обратно в воду, а сидел на дне, ревя и бряцая цепью.

— Вот так пассажир, — промолвил кучер, смеясь.

Лодку подтянули к плоту, снова привязали, а медвежонка перевели на берег. Петя уже был одет.

— Надо домой! — сказал он.

— Да уж, вестимо, домой... Занапрасну и взяли его... и покупаться не дал путём... — недовольным голосом произнёс Василий.

— Вы купайтесь. Я один доведу его, — вдруг предложил Петя.

Вестимо — известно, конечно.

Ни кучер, ни Василий на это не согласились. Оба поспешно оделись, и все трое отправились в усадьбу.

С Мишки текла вода, и он беспрестанно встряхивался. Он вздумал было лечь на траве, чтобы погреться на солнышке и облизать шерсть. Должно быть, он вспомнил, как делал это в лесу, когда купался. Но ему не дали понежиться, и Василий ударил слегка концом цепи медвежонка, когда он заупрямился.

Это обидело Мишку. Он оскалил зубы и сердито заворчал, но, однако, покорился и пошёл дальше спокойно.

Пыхачёв вернулся домой, и ему на дворе попала вся компания.

— Это откуда? — спросил он.

Петя рассказал, взяв на себя почин затеи.

— Вот это нехорошо! Не хвалю! — промолвил Виталий Осипович. — Зачем пугать других... Да и теперь Мишка попробовал воли и будет рваться. Вы не вздумайте ещё водить его в лес.

— А почему? — спросил Петя.

— Потому что, во-первых, ещё больше дразнить его. Да с ним там и справиться труднее. Почует опять себя на родине, и проснутся в нём все инстинкты... Освирепеет.

— А мать может попасться навстречу?

— Конечно, может, и тогда — несдобровать!

Последнее Пыхачёв прибавил нарочно, чтобы напугать сына.

— Нет, я прошу тебя, Петя, быть более благоразумным, — закончил Виталий Осипович и, обратясь к кучеру и Василию, ещё строже произнёс:

— Вы должны были вернуть с дороги... Видите — мальчик... А вы и сами рады! Эх, народ!

— Что же... покупаться... не худо Мишке... — проговорил, как бы в оправдание, кучер.

— Так можно его купать в пруду. Купайте в пруду! — сказал Пыхачёв, направляясь к дому.

Глава V

Петя писал письмо приятелю, товарищу по школе:

«Милый Ваня,— выводил он не особенно красиво,— ты всё просишь подробнее сообщить тебе о житье-бытье Мишки; но и так в обоих письмах я подробно писал о нём. Он с каждым днём становится забавнее, смелее, хотя как будто и злее, но всё же никого не кусает, а ласкается. Никак только не может сдружиться с нашими собаками. Те бросаются на него, а он скалит на них зубы и угощает их плюхами. Моську он даже чуть не разорвал, но она сама виновата, надоедает всех больше ему. Но что он наделал третьего дня утром, так это просто умора, а могло кончиться и плохо. Его побили даже... Слушай. Ты знаешь, что он сидит на цепи. Но иногда его спускают. Раза три поутру я его приводил к крыльцу флигеля, и тут мы с Наташей поили его чаем и кормили. Это мы делали потому, что мама Наташи, ужасно боявшаяся медвежонка, куда-то уехала. Как только она вернулась, мы опять стали носить завтраки ему на пустырь. В тот день утром я заспался, а Наташа, по случаю головной боли, не выходила. Мишка ждал и не дождался завтрака. Между тем, каким-то манером (должно быть, разогнулось колечко в цепи) он очутился на свободе. Недолго думая, он перелез забор, прошёл мимо построек и конюшен и добрался до флигеля управляющего. Дверь была не заперта в сени, а комнатная дверь чуть-чуть приотворена. Мишка взобрался на крыльцо, пролез в дверь и вперевалку, урча, явился в столовую в то самое время, когда жена управляющего собиралась пить чай. Мишка в один миг взобрался на стул и потянулся к булкам. Можешь представить себе её ужас. Она так испугалась, что не могла сразу ни вскочить, ни произнести ни слова. А Мишка знай себе хозяйничает за столом. Потом Наташина мама вдруг вскочила с места, взобралась на диван и, для чего-то тряся обеими руками, начала кричать одно и то же: «А-а-а!..» На этот крик прибежала

горничная; увидя Мишку, улепётывавшего булки, девушка тоже струсила, и вместо того чтобы прогнать его, бросилась вон и побежала за Васильем. А барыня всё стояла и кричала. Прибежал Василий. Он схватил Мишку за ошейник и поволок из комнаты.

Говорят, что медведи боятся крику и бросаются в бегство. Но это надо сделать невзначай и так, чтобы он не видел кричащего. Мишку сильно побили, и он целые два дня сердился на Василия, скалил зубы при его приближении. Я же думал, что Мишку убьют или сейчас же отправят куда-нибудь. Но его оставили, только укоротили цепь и не позволили ни спускать с неё, ни приводить на двор. Я никак не могу понять, чего Наташина мама так боится Мишки. Мы с ним большие друзья. Он недавно бегал за мной без цепи, боролся со мной и — ничего: не укусил, не оцарапал. Меня и Наташу он любит. Дашь ему руку, и он начнёт её мусолить и урчать. Какой он лакомка: сахару ест — сколько угодно, только давай! Мне всё хотелось его подпоить, да боюсь: вдруг охмелеет, да взбесится, тогда его не угомонишь, как говорит Василий.

Помнишь, мы с тобой говорили об языке животных. Разумеется, они говорят по-своему. Смотри: собаки, кошки, птицы — лают, кричат, пицают, поют не всегда одинаково. Так же и Мишка: он-то мурлычет, тихонько ворчит. Это тогда, когда он доволен. А рассердится — ревёт отрывисто и визгливо. Макар, который был вчера опять здесь, сказал мне, что большой медведь, когда сердится, ревёт глухо, хрипло, а если очень обозлится, то пыхтит и сопит. Если он испугается, то фычкает. «Не дай бог,— говорит Макар,— непривычному человеку услышать рёв медведя в лесу: обомрёт со страху. Уж на что я привык к охоте, а и меня не одинова дрожь так и пробирала всего при медвежьем рёве. Первый раз, как я услышал, так весь затрясся и волосы дыбом встали». А ты, Ваня, пишешь: отчего не отправитесь вы в лес на медвежью охоту? Посмотрел бы я, как ты пошёл бы!

Помнишь, как ты испугался крысы и закричал? Ну, не сердись, это я только так, шутя! Ты скажешь, что Макар не из храбрых? Нет, он много медведей убил. Папа тоже говорит, что рёв медведей ужасен. Сибиряки говорят: как заревёт «чёрная немочь» (медведь), так индо земля подымается. Вот, брат! Я гляжу на нашего Мишку и думаю: вот мы его теперь кормим, а отпусти в лес — одичает; попадись ему тогда — задерёт, изломает, не вспомнит хлеба-соли, да едва ли и узнает нас. Папа рассказывал, впрочем, такой случай: двух пятимесячных медвежат в мешке отнесли за три мили, и они вернулись обратно, найдя путь через болота и реки. А вот в одной книжке у Наташи я прочёл следующее: некто вынес медвежонка в мешке и наблюдал с дерева, окружённого со всех сторон водою. Медвежонок прорвал мешок, посидел несколько времени на одном месте, осмотрелся кругом, пробежался, обнюхивая землю, потом напал на след и побежал по нём к дереву. У воды след пропал. Тогда он поднялся на задние лапы и жалобно завыл. После этого он повернул назад, сделал круг, попал под ветер, поднял нос кверху и понял, где сидит хозяин. Он переплыл воду и начал взбираться на дерево. Мишку взяли обратно домой. Вот видишь, значит, мишка привыкает к человеку. А какое чудное чутьё! Право, мишка — славный зверь! «Медведь глуп», — говорит наш кучер. Это неправда: медведя выучивают разным штукам. А знаешь, Ваня, что я заметил: если долго и упорно глядеть на медвежонка, он начинает как будто трусить и пытается убежать. Раз я так сделал, и Мишка прижался к забору. Я сказал это Василью, он уверяет, что медведи боятся человеческого глаза; какой-то мужик тем и спасся, что спрятался за толстое дерево и пристально глядел на медведя. Чего же он боится?

Ты ошибаешься, Ваня, полагая, что шатуны — особые медведи. Шатуны — это медведи, не залёгшие почему-нибудь

Индо — даже.

в берлогу или выгнанные из ней зимой и не залёгшие снова. Василий говорит, что шатуном медведь становится оттого, что под кожей у него заводятся черви, которые не дают покоя зверю. Но управляющий отрицает это.

Ах, Ваня, я и забыл совсем рассказать тебе самое умо- рительное про Мишку. Он занозил себе лапу. Мы вытащи- ли занозу. Наташа стала уверять, что надо что-нибудь по- положить на ранку. Кухарка, готовящая на наших рабочих, сказала, что лучше всего положить тряпочку, намазанную густо коровьим маслом. Мы так и поступили, хотя не без труда, потому что Мишка не давал делать перевязки. Что же, однако, вышло? Мишка сорвал тряпку, слизал масло и начал есть самую тряпку. Мы вырвали, но он всё-таки половину уже успел съесть. Вот так пациент: ест и бинты и лекарство! Мы очень долго все смеялись этому. Пора, однако, Ваня, кончить. Моё письмо — целое сочинение. Я написал его в один присест. Отчего классные сочинения не пишутся так скоро? Какие-нибудь две странички — и пишешь, пишешь... Я думаю, потому, что всё трусишь, не ошибиться бы. А за моё письмо никто отметок ставить не будет. Прощай. Скоро мы и свидимся; но пиши ещё сюда.

Твой друг П. Пыхачёв.»

Приписка:

«Голубчик, Ваня! У нас с Наташей большое горе. Я на- писал вчера тебе письмо, но на станцию не поехали, и оно осталось до сегодняшнего дня. Сегодня утром мы просну- лись — и Василий объявил нам, что Мишка пропал.

— Как пропал? — воскликнул я.

— Да так: нет его... ни его... ни цепи.

— Убежал?

— Да, должно убежал... только мудрёно дело: как мог он это? Верёвка перервана, а уж какая толстая!.. Не украл ли его кто?

— Кто же?

Он и сам не знал. Я думал, что не велел ли Николай Петрович его увезти и скрывают правду. Но он дал честное слово, что никуда не отправлял Мишки. Наташа плачет. Я и сам готов плакать. Так я привык. Мне скоро уезжать, а всё-таки жаль. Бедный Мишук!»

Ещё приписка:

«Только сегодня я отправляю тебе письмо. Да, Василий прав: Мишку украли цыгане. Один мужик видел даже, как цыган его вёз, но подумал, что ему отдали медвежонка, который надоел господам. Жаль Мишки. Ему теперь будет худо. Он так привык к ласкам... Наташа всё ещё плачет по нём.

П. П.»

Глава VI

Кончились светлые деньки для нашего героя. Вольготно, весело жилось ему в родном лесу, недурно и сытно у Пыхачёвых: не было воли, но знал Топтыгин ласку; жил, по выражению Василия, «что барин в своей усадьбе». Вспоминал он временем свой лес и тосковал по нём, порываясь куда-то с цепи; но он привыкал к своей «сладкой неволе» и начал привязываться к маленьким хозяевам.

И вдруг — перемена. Вместо хорошей жизни — жизнь впроголодь, вместо ласки — побои и крики, и притом — та же неволя, да ещё хуже: цепь короткая, и каждый день — «ученье».

Новый хозяин —

Подпилил ему клыки,
Губу пробуравил,

Подпилил ему клыки и т. д. — Я. П. Полонский, поэма «Мишенька».
(Примечание автора).

На горячую плиту
 В сапогах поставил.
Учит Мишеньку вожак
 (Палки не жалеет):
«Как с похмелья на печи
 Баба спину греет,
Как ребята на току
 Просо молотили,
Как девицы хоровод
 По селу водили»...
Мишенька наш был неглуп,
 Впрок пошла наука,
Не была ему трудна
 Никакая штука.
Стал он водку лихо пить,
 В ноги кувыркаться,
Да плясать, да на миру
 С шапкой побираться.

И стал новый хозяин водить медведя по деревням, сёлам и городам. Потешал Мишка публику, которая хохотала до слёз от его уморительных представлений. И сыпались медные и серебряные монеты в шапку, с которой обходил публику четвероногий артист, доставляя порядочный доход своему хозяину.

Так шло время. Мишка работал на хозяина, забавляя публику; жилось всяко: и сытно, и голодно. То и водки вдоволь, то нет ничего, сиди на одном чёрством хлебе.

В ярмарку Мишка работал на славу и приводил в восхищение разношёрстную публику. Балаган, в котором он давал свои представления, был всегда полон зрителей. У входа висела громадная афиша, гласившая о фокуснике Коле

... *На горячую плиту В сапогах поставил.* — Когда учат медведей ходить на задних лапах, то ставят их на чугунный пол, снизу нагретый жарко. На задние лапы надевают обувь, а передние оставляют необутыми. Волей-неволей медвежонок становится на задние лапы и так научается ходить на них. (Примечание автора.)

восьми лет, о знаменитых акробатах из Вены (на самом деле из Минска) и других «артистах». Внизу крупно было прописано: «Здесь же показывается учёнейший медведь, от представлений которого все животики надрываются».

Такое заманчивое извещение невольно обращало на себя внимание, и публика, почти исключительно простонародная, валом валила в балаган Абрама Пейсича, от которого хозяин Мишки получал выговорённую плату.

От малышей родителям не было покоя.

— Мама, пойдём в балаган! — приставала дочь.

— Тятя, я хочу на медведя посмотреть, — твердил мальчик, таща отца к балагану Пейсича.

— Вдругоряд, Колька, опосля!

— Не, теперь! Опосля, пожалуй, и мишки не будет.

Родители сдавались, потому что им и самим было любопытно поглядеть на фокусников и на учёного медведя.

Публика с интересом следила за фокусами и упражнениями акробатов, но она главным образом жаждала видеть медведя, и нередко среди представления в балагане раздавались громкие возгласы:

— Довольно этого! Пущай Мишук выходит!

И вот появлялся Мишка.

Он выходил на задних лапах и в картузе на голове.

Появление мохнатого артиста производило необыкновенное оживление в публике.

Мишук, между тем, раскланивался на все стороны, снимая картуз.

Жидкие стены балагана сотрясались от дружного хохота и рукоплесканий зрителей.

— Здравствуй, Михайло Иванович! Здравствуй! — кричали со всех сторон.

— Ну-ка, Мишенька, покажи твоё уменье!

Вдругоряд — в другой раз.

И он показывал, как ребята горох воруют, как бабы на работу идут и возвращаются домой, причём на работу они шли медленно, нехотя, а домой возвращались быстро.

— Ай, Мишка! Знает всё доподлинно! — со смехом одобряли зрители.

Но ещё более смеялись все, когда Мишка показывал, как красны девушки румянятся и белятся перед зеркалом или как старшина идёт важно по деревне.

— Молодец, Мишка! — кричала публика.

Детям очень нравилось, как Мишка гонялся за собаками и, представившись мёртвым, растягивался на земле. Собаки близко подбегали к нему, он вскакивал, и они в испуге бросались в разные стороны.

По окончании представления Мишка обходил публику, собирая на водку, держа в лапах картуз, в котором лежал шкалик.

Публика смеялась и бросала в шапку копейки и семитки.

За время ярмарки немало их собрал хозяин Мишки, не забывавший угощать и Топтыгина водочкой.

Около семи лет странствовал цыган с Мишкой, исколесив много вёрст по Руси святой.

Раз как-то цыган зашёл с медведем в село, где был праздник. Подгулявшие мужички обрадовались Мишеньке и большой толпой собрались посмотреть на «фокусы» четвероногого артиста. Мишка не ударил в грязь лицом. Все зрители остались довольны и охотно бросали деньги ему в шапку. Цыгана угостили водкой, пивом, и он решил переночевать в деревне. Забравшись с медведем на ночлег в сарай, подвыпивший порядком цыган забыл привязать Мишку на цепь. Ночью Топтыгин, бродя по сараю, подошёл к двери, толкнул её мордой и вышел на улицу. Он прошёл несколько шагов

Старшина — староста, управляющий делами крестьянской общины.

Шкалик — бутылочка ёмкостью 0,06 л.

Семитка — двухкопеечная монета.

и остановился, как бы раздумывая о чём-то. Он потянул носом воздух, оглянулся назад: цыгана не было. И вдруг, исполнившись решимости, он быстро помчался за деревню, к видневшемуся близко лесу. На опушке крик совы испугал его, и он понёсся ещё скорее. Уже в глубине леса цепь задела за дерево и остановила бег Мишки. Он опять испугался, но испуг сменился злобой, он рванулся, и почти вся цепь осталась на месте. Он побежал далее, не разбирая дороги, и только треск пошёл по лесу...

Наутро, проснувшись, цыган взревел благим матом, когда узнал о побеге своего кормильца. Цыган немедленно кинулся сначала по дороге в следующую деревню, где был накануне. Не найдя там Мишки, он отправился в лес вместе с несколькими мужиками, но все их поиски оказались напрасными. Мишку скрыла необъятная лесная глушь.

Глава VII

В неприветное время года попал наш Мишук на волю. Сентябрь подходил к концу. Листья на деревьях желтели, лес с каждым днём становился печальнее. По утрам холода давали знать себя. Чем питаться в такую пору? Ягод никаких уже не было, за исключением кислой брусники да рябины. Грибы встречались, но уже редко... Мишка утолял голод жёсткой травой, брусникой, ел даже мох.

Так он бродил несколько дней; быть может, даже с грустью вспоминал о подневольной жизни, когда всё же был готовый хлеб, а иногда и угощение.

Он бродил по лесу и... наткнулся на муравьиную кучу. В восторге он разрыл весь муравейник, который был очень большой, поел муравьёв, их яйца и, более удовлетворённый находкой, чем насытившийся, отправился далее, углубляясь в дебри.

Несколько дней ещё он прошатался, питаясь растениями и муравьями, гнёзда которых стали попадаться чаще. Такая пища, однако, не удовлетворяла медведя, и он ослабевал.

Однажды он подошёл близко к болотистой чаще, где паслась лошадь, пущенная, вероятно, лесником либо охотником... В Мишке пробудился голод со всей его мучительной силой. Он начал осторожно подкрадываться к лошади, которая за ветром не чуяла сначала приближения страшного врага. Но вот она тревожно подняла голову, прядая ушами, и вдруг, вся задрожав, кинулась в бегство. Мишка бросился за нею, нагнал её, ударил одной лапой по затылку, другой схватил за морду, повалил на землю, растерзал острыми когтями грудь и принялся с жадностью есть тёплое мясо, ещё дымившееся кровью. Насытившись вдоволь, он хотел спрятать остатки, но его ухо уловило шорох в лесу. Он бросил недоеденную лошадь и убежал.

Охотники прокладывают в лесах свои тропинки, так называемые путики. По этим путикам устанавливают слонцы, или западни, для ловли разной дичи. Расставляются также и петли.

Слонец — плашка, сколачиваемая из нескольких брёвешек. Она поддерживается тонкою подстановкою. Достаточно поразрыть под нею землю, чтобы приманить рябчика, тетерева, которые любят порыться в песке. Подставка легко сбивается с места, плашка падает и придавливает собою птицу. Такая западня смахивает на мышеловку-давилку. (Примечание автора.)

Петли — устройство их таково: вершинки, срубленные с молодых елей, раскладываются парами в разных направлениях таким образом, что из них выходит ломаная линия. Отрубы каждой пары соединены вместе, а от одной вершинки к другой натуго протянута в две толстые рассученные пряди бечёвка, на которой и висит несколько волосяных петель. Верхние края их вложены в бечёвку между прядями, а нижние касаются земли. Бродя, птица сунется в петлю, потянет, захлестнёт её около шеи и задавится. (Примечание автора.)

На одну из таких тропинок-путиков удалось попасть нашему герою. Чаща была густая, едва проходимая, и в ней-то таился путь. Мишка едва мог пробраться: срубленные и упавшие деревья, переплетаясь ветвями, мешали движению. Но Мишка уже почуял добычу и полез напролом, сокрушая всё встречавшееся ему на пути.

Вот он добрался до ловушек и начал похищать придавленную птицу, разламывая слонцы. Вкусной показалась медведю дичь, и чем более он ел, тем более разыгрывался его аппетит. Он истребил много птицы, прежде чем насытился. Пуху наприставало к его морде, и он принялся очищать её: обхватив ствол дерева одною лапою, другою он снимал пух с себя. Очистившись, он грузно опустился на все лапы и пошёл далее, ломая ветки и сворачивая деревья. В густой чаще, между корнями двух многолетних сосен, завалился он спать, чувствуя приятную полноту в желудке.

Он пробудился от громкого треска, раздавшегося недалеко. Он быстро вскочил, поднялся на задние лапы и увидел приближающегося молодого медвежонка.

Наш герой заворчал. Медвежонок остановился и тоже издал какой-то звук. Он не был выражением вражды. Все животные умеют объясняться между собою. И наш герой узнал от медвежонка, что он был пестуном, нянчил двух медвежат, но и их, и медведицу убили, а он убежал, скрылся и вот уже около месяца живёт один. Берлога их недалеко отсюда, но он боится оставаться здесь и хочет на холодное время уйти дальше, чтобы выбрать на зимовку берлогу в другом месте... Он любопытно узнал, откуда наш герой. Бывший артист рассказал свою биографию и те приключения, которые он пережил за все года неволи. Ржавый медный ошейник, сохранившийся на шее, подтверждал правду его слов... Молодой медвежонок с любопытством осмотрел это медное ожерелье.

Познакомившись друг с другом, оба медведя отправились дальше вместе. Наш Мишка тоже рассудил, что здесь оставаться небезопасно, потому что близко человеческое жильё. Оба углубились в самую глухую чащу.

Наступали холода, и зима быстро подходила. По утрам у берегов лесные ручейки замерзали; два раза шёл снег. Нужно было позаботиться об устройстве берлоги или отыскании готового логовища на зиму.

Молодой медвежонок скоро оставил своего случайного товарища, прельстясь дуплом старого дерева. Наш герой пошёл дальше и наткнулся на глубокую яму. Здесь он и решил перезимовать. Он начал натаскивать в яму мху и листьев и стал питаться только одним медвежьим корнем, который служит хорошим средством для очищения желудка и кишок. Медвежий корень — это не что иное, как луковица, которая растёт обыкновенно на увалах. Вкус её сладковатый, довольно противный. Если её поест человек, то чувствует расслабление организма и «лёгкость», точно после бани. «Как будто несколько пудов с тебя свалится», — говорят сибиряки.

Снег уже выпал порядочный, а Мишка ещё не залёг. Он боялся прямо пройти в приготовленную берлогу, чтобы люди по следам не нашли её, и прибег к хитрости. Он проходил несколько раз по одному и тому же месту, делая скачки в сторону, и, перепрыгнув через груды валежника, очутился у своего дома. Он залез в него и лёг головой к самому отверстию. Более двух недель Мишка не закрывал отверстия (лаз). Но когда наступили морозы, он заткнул лаз изнутри берлоги мхом и предался спячке. Это не значит, что он впал в оцепенение: он отдался полудрёме, не теряя способности слышать.

Здесь не мешает заметить, что в более тёплом климате, по словам Брема, медведи и не думают об устройстве

...прельстясь дуплом старого дерева. — В Минской губернии, по сообщению князя Радзивилла, медведь устроил себе берлогу на дереве. Медведь покоился среди сплетённых сучьев раздвоенного ствола великоколенной ели на высоте 11 метров от земли. (Примечание автора.)

Брем Альфред Эдмунд (1829—1884) — немецкий зоолог.

зимнего убежища. Он основывает своё мнение на том, что медведи, содержащиеся в зоологических садах, не спят и ведут себя зимою точно так же, как и летом.

Глава VIII

Зима в этом году стояла очень тёплая. Знаменитых крещенских морозов почти совсем не было.

Около Благовещенья наш Мишка проснулся, потянулся и вылез из зимней квартиры. Он встряхнулся, чтобы расправить слежавшуюся шерсть, облизал себя очень старательно, повалялся в тающем снегу, в сыром мхе, с удовольствием обнюхал весенний бодрящий воздух, выражая урчанием своё радостное настроение, и, переваливаясь, отправился на поиски медвежьего корня. Поевши его, Мишка напустился на молодой осинник. Топтыгин проголодался за зиму и ослаб. Желудок, очищенный медвежьим корнем, требовал работы; организм, истощённый за время «поста», нуждался в хорошем питании. Мишка жаждал животной пищи. Он бродил по лесу злой, сердито урчал, сворачивал лежавшие сухие деревья, ломал ветви.

Шерсть на нём начала выпадать и обоняние на время притупилось. Но вот стало теплее, показалась травка. Мишка перенёс обычное недомогание, начал оправляться, а тут ему и счастье улыбнулось: он нашёл в лесу павшую лошадь. Он набросился на падаль и насытился ею вдосталь, как самый тонкий гастроном, который с наслаждением ест сыр с отвратительным запахом.

Желание мясной пищи заставило Мишку покинуть лесную чащу и приблизиться к человеческому жилищу. И вот

Крещенские морозы — резкое похолодание, происходящее на дни, близкие по времени к церковному празднику Крещенье (19 января).

Благовещенье — церковный праздник, происходящий на 7 апреля.

однажды он набрёл на лошадей, без призора гулявших на лесной поляне. Мишка ловко подкрался к одной из них и насел на неё сзади, крепко впустивши когти в её шею. Сильная рослая лошадь понесла его. Он держался одной лапой за шею лошади, а другой хватался за деревья, чтобы остановить её бег. Она промчалась с ужасным седоком более версты, упала, обливаясь кровью, и испустила дух. Но Мишке не удалось воспользоваться её мясом. Мужики, работавшие невдалеке, увидели и бросились все на медведя. Ему оставалось одно: спасти свою шкуру. Изо всей силы помчался он и убежал от врагов.

Неудача разозлила Мишку и ещё более раззадорила его.

Через несколько дней ему, однако, удалось полакомиться свежим мясом.

В лесу на островке паслась корова угольщика. Мишка заметил её, но днём не посмел переплыть речку и напасть на корову. Дождавшись ночи, он спустился с крутого берега, переплыл речонку, осторожно подкрался к спящей корове и задрал её. Утоля свой аппетит, он задумал унести остаток в чащу, чтобы доесть впоследствии. Мишка перетащил остатки туши на берег, но когда начал взбираться на гору, то оборвался и полетел вместе с тушей в реку. Шум, который он сам же произвёл, напугал его, он бросил добычу и убежал в чащу.

Рассерженный угольщик поклялся «убить проклятого» и две ночи караулил медведя, но тот благоразумно не пришёл за недоеденной коровой.

Чем дальше, тем лучше становилась жизнь Мишки. Появились ягоды, грибы, повывелась дичь. Он оказался очень смышлёным охотником. В лесу было немало озерков, речек и болот. Мишук отправлялся на озёра или болота и гонялся за утками. Если надо было — он осторожно полз, а то носился

Верста — мера путевой длины, равная 1 км 67 м.

Угольщик — человек, заготавливающий древесный уголь и торгующий им.

за молодой дичью, так что брызги воды летели во все стороны, и далеко доносилось шлёпанье по воде мохнатого охотника. Наевшись досыта, мокрый и грязный, он ложился и засыпал до утра. Утром он забирался в чащу и редко выходил из неё. С наступлением вечера он снова выходил на поиски и охоту. Выйдя из чащи, он останавливался, приглядываясь и прислушиваясь. Если ничто не грозило опасностью, не замечалось подозрительного, он продолжал путь.

Как и все медведи, наш Мишка любил орехи. Насбивав несколько кедровых шишек, он нёс их на открытое место и принимался там катать: орехи высыпались, и Мишка с наслаждением лакомился ими. Возвращаясь с озёр в чащу, он любил купаться и подолгу булькался в воде. Вообще, после еды и в хорошем настроении духа он был не прочь позабавиться и поразвлечь себя. Заберётся на крутизну и давай спускаться с неё камни. Сбросит камень и заглядывает, как он летит, задевая другие камни, увлекает их за собою и разбивается сам в мелкие куски. По получасу, а иногда и более, занимался так Мишенька.

Но раз, увлёкшись забавою, он чуть не погиб. Дело было так: он только что поел дичи, полакомился мёдом и чувствовал себя необыкновенно хорошо. Идя по лесу, он вдруг нашёл сломанное грозюю дерево с расколотым стволом. Мишка поднялся на задние лапы, передними начал нагибать расщепину и, пригнув её почти до земли, вдруг отпустил. Раздался пронзительный дребезжащий звук. Это Мишке понравилось, и он повторил опыт. Продолжая забавляться таким образом, он и не слышал, как к нему подкрался охотник и выстрелил. К счастью Мишки, пуля задела ему только ухо. Наш герой, испуганный неожиданностью, бросился в бегство, и такой треск пошёл по лесу, что мелкое зверье пугливо забилося в свои норы.

После этого случая наш Мишка целый день не выходил на охоту, а потом отправился по вечерней заре к озеру, а оттуда к поляне, где паслись по ночам лошади.

В одну из прогулок Мишка встретился с молодой и красивой медведицей, которая ему очень понравилась. Наш

герой был и сам недурной медведь: рослый, девятнадцати четвертей, с длинной, пушистой бурой шерстью; к тому же он видал виды, не то что лесной увалень, нигде не бывавший, кроме дебри. Мишка понравился медведице, и она согласилась сделаться его женою, особенно после того, как он победил и прогнал трёх медведей-соперников, которым также хотелось жениться на красивой медведице.

Настало для нашего героя самое счастливое время.

Глава IX

Прошло три года.

Жил да поживал наш Топтыгин в лесу, сделался отцом семейства и не один раз, вступая в драку с попадавшимися медведями, оставался победителем. Он сделался настоящим героем после того, как изломал старого, опытного охотника, которого товарищи звали даже заговорённым. Мишка кинулся на врага, не обращая внимания на собак. Он шёл, глухо рыча и скаля зубы. Распорол бы Мишино брюхо нож охотника, но его рука невольно дрогнула, нож скользнул, не нанеся раны медведю. Мишка заревел, надел на охотника, подмял его под себя и отомстил за всех убитых собратьев... Это случилось незадолго до зимы.

Эта зима была последней для нашего героя.

Залёг Мишка около Покрова дня в берлогу, неподалёку от берлоги своей жены. Полудремал он, прислушиваясь к каждому шороху, словно чуял беду. И предчувствие не обмануло его. Выследили охотники берлогу и сделали облаву. Мишка

Девятнадцать четвертей — около 3,5 м (четверть — мера длины, равная 17,78 см). Размеры своего героя А. В. Круглов сильно преувеличил. Очень крупным в наших лесах считается медведь, длина тела которого достигает 1,7—1,8 м.

Покров — церковный праздник, приходящийся на 14 октября.

обозлился, выскочил из берлоги, лаз в которую ещё не был заделан наглухо. Выскочил Мишка и бросился прямо на человека, который шёл на него. Раздался выстрел. Пуля прожужжала мимо уха Мишки, не задев его. Ярость овладела Топтыгиным. Кровь бросилась ему в голову. Он поднялся на задние лапы и зарычал. Охотник не струсил. Туманом начало застилать глаза у Мишки. Он забыл о всякой опасности и ринулся на смельчака. Но в этот миг Мишка почувствовал жгучую боль под лопаткой и со стоном повалился на снег. Когда подбежали к нему охотники, он был уже мёртв.

Так погиб наш герой.

Не спаслась и медведица с детьми. Её также убили, а обоих сыновей нашего Мишки охотники взяли с собой и продали в зоологический сад.

Г л а в а X

Я ничего не могу сообщить об их дальнейшей судьбе, но я доскажу историю об убитом герое настоящей повести.

«Да какая же история, если он убит?» — спросят читатели.

Конечно, это уже эпилог истории, и для него достаточно нескольких слов.

Петя Пыхачёв кончил училище и поступил в офицеры. Живя в Петербурге, он зашёл как-то в магазин выбрать себе мех для шубы. Рассматривая меха, он присел на стул; невдалеке стоял на задних лапах высокий медведь, держа в передних подносах, на котором помещался графин с водой.

Пете захотелось пить. Он встал, подошёл к медведю и, вынимая пробку из графина, промолвил, смеясь:

— Ну-ка, Мишка, угости меня водичкой!

Он и не знал, что его угощает тот самый Мишка, которого когда-то они с Наташей кормили булкой и мёдом.

Училище — здесь: военное училище.



ИЗ ЗОЛОТОГО ДЕТСТВА

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Несколько лет тому назад в «Роднике» я начал печатать ряд картинок из моих детских воспоминаний, под заглавием «Армия и казаки». Не задаваясь никакою моралью, я намеревался бесхитростно рассказать «о том, как мы играли в солдатики». Внезапная болезнь заставила меня прервать наброски, искусственно закончив их почти на половине. В таком виде они были изданы отдельной книжкой редакцией «Родника», под тем же заглавием — «Армия и казаки». Я уже и не думал когда-либо кончать эту «страничку из золотого детства»; но тот успех книжки среди маленьких читателей, который мне пришлось наблюдать самому, который констатирован авторами книги «Что читать народу» и рядом одобрительных отзывов критики, изменили моё намерение. Между тем вся книжка разошлась; делая новое издание её, я прибавляю к ней недописанную прежде вторую часть и даю то заглавие всей повести, под каким я думал выпустить её ранее. Говоря о первом издании книжки, критик («Что читать народу») заметил: «Нельзя ни на минуту сомневаться, что это действительные воспоминания *детства* автора». Совершенная правда: я рассказал именно *«то, что было, и так, как оно было»*.

Москва, 1888 г., декабрь

О, светлое детство! О, детские грёзы!
Вас время смахнуло всеильным крылом;
Но я сквозь житейские горькие слёзы
Вам улыбаюсь тайком.

... Мы шатры разбивали у леса,
Разводили костры над рекою,
Брали в плен незнакомых ребяток,
Торжествуя, вели за собою.
Горделиво, на палочке длинной,
В красной каске гарцуя пред строем,
Я себя представлял не на шутку
Полководцем и славным героем!..

Часть первая

I

Т Ъ Р К А

С самого раннего детства я проявлял особенную любовь к военному мундиру. Уже четырёх лет я седлал свой плетённый стул и надевал кивер из сахарной бумаги. К семи годам я облёкся в полную форму гусара и, сияя от удовольствия, отправлялся на парадный губернский плац. Наслаждаясь маршировкой солдат и незатейливой музыкой местного гарнизона, я воображал себя генералом, делающим смотр войскам.

Я рос, и вместе с тем росла во мне любовь к военной службе. Я бредил парадными, войной и говорил, что буду непременно офицером. Благодаря такой любви я по своей воле

засел за азбуку: во что бы то ни стало мне хотелось прочесть как можно скорее жизнеописание различных знаменитых полководцев и героев.

Десяти лет я уже читал бойко. Получив в день своего рождения в подарок от матушки «Жизнеописание Александра Васильевича Суворова», я прочёл небольшую книжку несколько раз. Ещё ранее слышал я об этом русском богатыре, но теперь проникся к нему таким уважением, что порешил: не было и не будет другого героя, равного Суворову.

Прошло несколько времени.

Случайно на столике сестры я нашёл роман Загоскина «Юрий Милославский»; прочёл его, многого, конечно, не понял, но личность казака Кирши невольно заняла моё воображение. Образ Кирши показался мне как-то яснее, доступнее, хотя Суворов был величественнее и обаятельнее, как личность, выходящая из ряду вон, заставляющая преклоняться перед своею мощью и непоколебимостью.

Я забредил казаками, и в тоже время хотел быть Суворовым... Мои товарищи по игре и школе уже давно изъявили готовность устроить настоящее войско, чтобы играть в войну.

Не решён был только вопрос: быть нам казаками или солдатами? Некоторые из товарищей, которых я познакомил с похождениями Кирши, стояли за казаков, но другие, увлечённые подвигами Суворова и рассказами о севастопольской кампании, хотели быть солдатами...

Мы были в нерешительности... Наши сомнения решил Степан Тёрка, с которым я познакомился совершенно случайно.

Я нёс булки из лавки и уже подходил к своему дому, когда вдруг большая чёрная собака набросилась на меня, повалила и вырвала весь узел. В тот самый момент, когда я поднялся с земли, из-за угла выскочил рыжий мальчишка, без шапки, босой, в одной рубашке и с палкою в руках. Он ловко перепрыгнул через перила палисадника, где

расположилась с добычей собака, вырвал у неё узел и через минуту уже стоял возле меня, подавая мне булки.

— Не тронула ещё... Не успела,— проговорил он и пошёл от меня.

Я с уважением посмотрел на храбреца и, невольно вспомнив о Кирше, подумал: «Из него непременно впоследствии выйдет герой вроде Кирши». Принявши узелок и уже сделавши несколько шагов по направлению к дому, я остановился, обернулся и крикнул своему избавителю:

— Мальчик!.. Послушай, мальчик!

Он остановился.

— Ты не слышал... ты ничего не знаешь про Киршу?

— Что ты говоришь? — промолвил незнакомец, видимо удивлённый моим вопросом.

— Про Киршу ты ничего не слышал? — повторил я.

— Какой Кирша?

— Казак, храбрый! Ты не слышал?

— Нет!

И не читал про него?

— Я не учёный,— ответил мальчик и хотел было идти далее.

Я опять остановил его.

— И про Суворова не слышал? — продолжал я.

— Про генерала? Про Александра Васильевича?

— Да, да... про генералиссимуса?

— Звали-то его как, Александром Васильевичем?

— Да, так!

— Слышал! Батя покойный рассказывал. У, какой был генерал! Турку и француза бил как мух!

Он громко захохотал и приблизился ко мне.

— А что? — прибавил он вдруг, пытливо глядя на меня.

— Ничего... Я вот и про Киршу знаю... Хочешь, я тебе прочту?

— Книжка у тебя есть?

— Есть!

— Пожалуй, прочти,— согласился он, почесывая грудь...— Да только как же: к тебе приду, аль ты?

— Уж ты лучше,— сказал я.

— Когда же?

— Как хочешь!

— Завтра можно?

— Можно и завтра... Да как тебя зовут?

— Меня-то? Тёркой!

— Это что же такое: Тёрка? Твоя фамилия?

— Какая там фамилия! Просто так, потому я видишь какой: лицо что тёрка... в самый раз как она... А зовут меня Степаном.

Он указал на своё изрытое оспой лицо и с громким смехом побежал от меня.

— Я приду... я ведь знаю тебя! — крикнул он на бегу.— Мамка моя бельё у вас стирает,— добавил он, перелезая через перила палисадника и скрываясь за шпалерами густых акаций.

II

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ СТЕПАНА ТЁРКИ

Он явился на другой день в наш огород и развязно разлёгся на траве возле парника. Как и вчера, он был бос, без шапки и с той же палкой в руках.

Я сбегал за «Юрием Милославским» — и стал читать те сцены, где действующим лицом является Кирша.

— А это всё правда? — спросил Степан, когда я кончил.

— Разве станут писать в книгах неправду? — отвечал я.

— А то будто и нет? — насмешливо возразил Тёрка.— Вот Спиридоныч, здешний дьячок, прямо говорил: мало ли вздору в книгах; они для потехи и пишутся... Вот Священная

книга — другой резон, та не врёт, потому та — церковная, святая книга... А твоя ведь не церковная? Да?

Он заглянул в книгу и убеждённо закончил:

— Так и есть, не церковная! У той, брат, буквы не такие. Я хотя и не учёный, а сразу различить могу: те буквы — у церковной-то — не в пример красивее, рисованные, красные... А эти — нет.

Озадаченный такими словами, я не знал, что и ответить Степану; побежал домой и обратился за помощью к матушке. Она объявила мне, что Священная книга, действительно, правдивая, но и эта, надо думать, не лжёт, потому что «историческая», а «история, ведь сам знаешь, — наука!» — заключила матушка.

Я вернулся в огород и сообщил Степану, что и моя книга правдивая, потому что историческая, а «история,— сказал я,— наука, и учёные такие люди, которые лгать не станут».

— А-а,— промолвил Степан,— не станут?

— Не станут, это люди умные... их все почитают!

— Ишь ты! Ну, коли так, молодец этот Кирша,— веско произнёс Степан.— А что, он теперь жив?

— Где же, что ты! Ведь это было тому назад больше двухсот лет!

— Во когда!.. Ну, стало быть, помёрши...

Он подумал с минуту и произнёс:

— А что, теперь такие люди бывают? Как ты думаешь?

— Надо полагать... Отчего же им не быть? — ответил я нерешительно.

— Бывают? — обрадовался Степан.— А что, если я буду таким?

Он приподнялся с земли и, улыбаясь, прибавил:

— Ты ещё не знаешь меня! Я — у какой! Я, брат, храбрый! Я, ведь, брат, ничего не боюсь!

Он почесал шею, застегнул ворот рубахи и ещё самодовольнее, ещё с большею гордостью сообщил мне, что его мамка — зовут её Овдотьей — силачка, ест не меньше пильщика,

работает за троих, что его отец был гренадер, имел четыре ордена и колотил турок и французов — знай наших!

— Вот, брат, как! — продолжал он. — Мы все таковы! Я, брат, тоже сильный... я тебя пальцем сшибу! Я, брат, лягух за пазуху сажаю... Я — у какой!

Он прищёлкнул языком и снова лёг на траву.

Я смотрел на него и всё более и более убеждался в том, что это настоящий Кирша.

— Ты не боишься так-то ходить? — спросил я его.

— Как так-то?

— Босиком? Долго ли ногу порезать!

— А тебе ещё сапоги надо? — захохотал Степан. — Ишь, неженка-барчонок! Я, брат, не такой... Я привык! Сунься-ка теперь: сапоги-то кусаются! А надолго ль их? Живо истреплешь сапоги! Да зачем мне их? Намедни я как на гвоздь напоролся — страсть! И ничего: похлестала кровь — и всё!

— А простуда?

— Я разве ты? Я, брат, не такой! Я осенью, на Покров день, по самое брюхо в реке брожу — и ничего! Раз, точно, трясучка взяла... Да что! Потрясла-потрясла — и перестала. А я опять пошёл!.. И после того ни-ни... Видит, что не боюсь... и бросила!

— Ты непременно будешь Киршею! — воскликнул я восторженно.

— И буду!.. Ты знаешь Прилуки?

— Знаю.

— Хочешь, я оттуда лошадь приведу?

— Зачем же?

— Так вот! Возьму из ночного — и приведу. Я езжу ловко!

— Нет, не надо... Я так тебе верю.

— То-то! Я, брат, у какой! Все говорят, что я отчаянный... И это верно!

— Мать, поди, рада этому? — не без зависти заметил я.

Гренадеры — отборные пехотные части.

— Она, брат, вот что говорит: разный, говорит, головорезам конец бывает: на хорошее пойдут — добром кончат, а то и гибнут!.. Только я, брат, худо делать не стану. К примеру сказать: я тебя разве обидел?

— Нет, не обидел.

— Я за тебя заступился! И всегда так буду делать: кто послабее — за того и заступлюсь.

— А с кем же ты играешь? — спросил я Степана.

— Нешто ребят здесь мало! Только я не со всеми... больше с Петрухой-колбасником да с Фёдором из сливочной дружусь!.. Это ребята настоящие.

— Сильные?

— И сильные, и не трусы!

Он помолчал и спросил в свою очередь:

— А ты с кем дружишься?

— С Ваней...

— Это племянник Вукулов? Чиновника горбатого сын?

— Да, он!.. Ещё Лавдовские — Гриша и Паня.

— И всё?

— Вчера с Костей Ратовым познакомился...

Степан сделал презрительную гримасу.

— Это мразь! Где у него силёнка?.. И как ты играешь с ним? В куклы?

— Это с чего? — не выдержал я, обиженный такую дерзостью.

— А то как же?

— Как? Мы скоро армию составим... Будем играть в войну!

— Ну, армия!.. — захохотал Тёрка. — Я её один в плен возьму!

— Да я ещё не всех перечислил... Ещё Бунаковы с нами же, Корытов, Шульц-старший, Доброумов, Глушицкий... Засецкий Коля, знаешь?

— Этого знаю... Это — парень дюжий!.. Вот это силач!.. А всё-таки, знаешь что: мы вас переборем!.. Ведь и я не всех

сказал... то дружки... а так-то знакомых сколько! Давай-ка, чья возьмёт?

— Зачем же так,— возразил я.— Лучше к нам иди... Мы тебя начальником сделаем!

Он подумал с минуту.

— Так — не рука! Вам подо мной будет трудно... Я, брат, шутить не люблю! Да и не хочу мешаться с вами! Лучше вот как: я наберу своих ребят, ты своих, и будем воевать заодно, но особливо.

— Вы будете кто же? Казаки?

— Пожалуй, и так! А вы солдаты... Казаки — ухари: мы будем ими.

На том и порешили.

Через три дня мы все собрались вместе в огороде и окончательно обсудили дело. По общему решению, Степан должен был в своём огороде (на островке, в ивах) заложить Сечь и становился атаманом, а мы образовывали армию, причём командиром был выбран Коля Засецкий, как самый сильный и ловкий из нас.

III

МЫ УСТРАИВАЕМСЯ

Степан Тёрка, принявший имя Степана Нападайко, набрал в свою команду десять человек, не считая при этом себя и своего есаула Петрухи, который был назван Петром Помогайко. Сверх этого ещё был избран *писарь* — сын местного дьячка, ученик духовного училища. Он знал кое-что

Сечь — военная организация украинского казачества в XVI—XVIII веках, её укреплённый лагерь находился за Днепровскими порогами; казаки, составлявшие Сечь, назывались запорожцами.

Дьячок — пономарь, псаломщик, низший служитель культа в православной церкви.

о запорожцах, о казаках вообще и о Сечи. Этот пономаревич объяснил атаману, что фамилии должны оканчиваться на *ко*, потому-де, что почти все малороссийские фамилии оканчиваются на *ко*. Сам себя он назвал Заправляйко.

Небольшой остров на пруду, окружённый ивами, был укреплен при помощи мусора и щебня. Из ив сделан шалаш, а посреди острова, в разных направлениях, устроено нечто вроде окопов. Устроили даже запруду, чтобы *чужие люди* не могли попадать на остров. Сами казаки должны были пробираться или на челнах (собственно — на ветхой калитке, брошенной за негодностью), или по мосту, который был устроен из досок и легко разбирался.

В то самое время, как устраивалась Сечь, шли работы и у нас. Нам хлопот было ещё более, чем казакам... Уже одна вербовка солдат — при малом знакомстве с уличанами — заняла ровно пять дней. Зато нам удалось образовать армию в 18 человек, из которых 16 составляли, собственно, рядовую армию, а 17-й вместе с генералом — начальство. Этим семнадцатым, то есть адъютантом к генералу, был выбран Гриша Лавдовский, гимназист 3-го класса. Вся армия была разделена на два корпуса, по 8 человек каждый; корпус разделялся на два полка, по 4 человека в полку; два же человека составляли роту. Офицеров пока не полагалось; все мы были равными и подчинялись непосредственно генералу, который давал полномочия адъютанту.

Когда войско было сформировано, приступили к его вооружению и обмундированию. Я вооружился игрушечным ружьём, по виду совершенно похожим на настоящее; оно стреляло горохом и пробкою. Остальные вооружились просто вытесанными палочками с острыми концами. Кивера поделали из бумаги, погоны тоже. У Коли Засецкого был уланский мундир, и он облёкся в него, прицепив саблю и повесив на грудь три ордена. Адъютант получил один крест за «распорядительность по формированию армии».

Пономаревич — сын пономаря.

Показавши нам ружейные приёмы (для чего *генерал* дважды посещал отставного унтер-офицера Леонтьича), Засецкий сделал нам смотр и затем приказал приступить к постройке шалашей, гауптвахты и крепостей, а сам с Гришей принялся составлять военные законы. Шалашаши были живо сделаны из ив, в гауптвахту превращена баня, а крепость выстроена из хворосту и досок и представляла из себя довольно длинную галерею, закрытую со всех сторон, с узенькими окошками в стенах и с шалашиком на крыше; этот верхний шалаш оканчивался башней, на которой и утвердили флаг из двух цветов — белого и красного. Генерал очень внимательно осмотрел работы, похвалил нас за прилежание и отдал приказ через два дня собраться у крепости для выслушания законов и присяги.

В этот самый день в армии возник вопрос: а где же король? Нужен король, ибо генерал не есть такое лицо, которое имеет право издавать законы и распоряжаться всем по своему произволу...

— Кому же будем присягать? — говорил Шульц. — Генералу? Да этого никогда не делается.

— Конечно, конечно, — подтвердил и Паня Лавдовский. — Не правда ли? — обратился он ко мне.

— Правда, — согласился я.

— Надо заявить это *им*, — решили мы, подразумевая под этим словом наших начальников.

И заявили.

— Мы подумаем, — ответил нам Засецкий.

— Нечего думать, иначе нельзя, и я иначе присягать не буду! — твёрдо заявил Шульц.

— Что? Не повиноваться начальству? — грозно крикнул Засецкий. — Ты так и потом будешь себя держать? Тогда что же такое выйдет?

— Я ещё не присягал, — ответил Шульц, — и потому могу говорить... Когда приму условия и соглашусь им следовать, тогда обязан буду повиноваться, а теперь ещё я

свободен. Потому и говорю, что без короля я не буду служить.

— И я тоже! — поддакнул Паня Лавдовский, обиженный тем, что не он, а его брат попал в адъютанты.

— И мы! Мы также! — присоединились другие.

Видя такое общее желание, Засецкий и Гриша решили исполнить его. Только вместо короля они предложили избрать королеву, известную всем нам гимназистку Аню Соколову. Это была девочка замечательно красивая собою, стройная, высокая, ловкая...

— К ней чрезвычайно пойдёт королевская корона, — сказал Гриша. — Хотите?

— Хотим! — согласились мы.

Начальники в этот же вечер приступили к переговорам... Аня долго не соглашалась; наконец, Коля Засецкий уговорил её. Гриша собрал нас и объявил об избрании королевы Анны I.

— Да здравствует королева! — крикнул он.

— Да здравствует королева! — подхватили мы дружно.

— Завтра в 12 часов собраться здесь! — отдал приказ адъютант. — Вам прочтут законы, и вы присягнёте королеве. Она будет сама здесь. Будьте как можно опрятнее.

На другой день, очень рано, мы собрались все у крепости, в парадной форме. Адъютант прибыл в 11, а генерал в 12 часов. Королева несколько запоздала. Оказалось, что насилу могли достать костюм из парикмахерской... Без мантии королева не хотела являться, и пришлось обегать семь парикмахерских. Только в одной оказался порядочный костюм. Корону приготовила из золотой бумаги подруга Ани...

В начале первого показалась в калитке королева... Генерал скомандовал на караул и дал знак музыкантам. Забили в барабан, Шульц заиграл на гребёнке, приложивши к ней пропускную бумагу, мы закричали неистово «Ура!».

Торжественно прошла мимо нас королева и села в кресло, поставленное в тени тополей... Генерал вручил рапорт королеве и затем, по данному ею знаку, вызвал адъютанта, который и прочёл законы, составленные им вместе с генералом и утверждённые собственноручною подписью королевы. Устав состоял из следующих 6 пунктов:

§ 1. Закон составляется генералом, при содействии адъютанта, и входит в силу по утверждении королевою. Только в военное время генерал пользуется неограниченной властью.

§ 2. Вся армия безусловно подчинена генералу как в военное, так и в мирное время. В своё отсутствие генерал ставит вместо себя своего адъютанта, которому армия подчиняется как самому генералу.

§ 3. За храбрость и мужество, оказанные в сражениях, будут выдаваться кресты, медали, ордена и чины.

§ 4. За преступление, неповиновение — виновные подлежат суду. Королева может утвердить или отменить приговор суда — помиловать.

§ 5. Незначительные проступки судит один адъютант. В свою очередь, и адъютант, и генерал подлежат суду, которому предать может лишь сама королева.

§ 6. Смертная казнь без суда и без утверждения королевы — ни в каком случае не допускается.

— Слышали? — крикнул генерал, когда адъютант кончил чтение и отошёл в сторону.

— Слышали, ваше превосходительство! — закричали мы.

— Теперь присягните! — торжественно сказал генерал.

Мы все стали на одно колено и, преклонив голову пред королевой, дали слово исполнять законы. Генерал и адъютант принесли присягу каждый отдельно, подойдя к королеве и поцеловав её руку. После всего этого, с знаменем, несколько наклонённым, и с ружьями на караул, армия прошла мимо королевы, оглашая воздух криками «Ура!». У конца огорода армия разделилась на две части, встала по обе

стороны тропинки и пропустила королеву. Опять крики и опять музыка. Генерал проводил королеву до крыльца и, вернувшись, объявил, что её королевское величество жалует на каждого солдата по горсти орехов и даёт день для отдыха. Вечером каждый из нас получил обещанную порцию кедровых орехов, купленных королевою на свой счёт...

На другое утро из Сечи прибыл есаул с письмом к королеве... Она приняла письмо и велела благодарить атамана. К вечеру, для отдачи визита от армии, был отправлен адъютант, которого атаман принял лично.

IV

ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

Жили мы целую неделю мирно, учились военным приёмам два раза в день, утром и вечером, отправляли караул на гауптвахте и в крепости (ночью караула не было). Во время дождя позволялось уходить в гауптвахту. Надо удивляться тому терпению, с каким мы несли эти караулы.

По желанию королевы генерал посылал меня и обоих Бунаковых в подгородний монастырский сад за цветами. Мы исполнили приказ, совершивши десятивёрстную прогулку. За это нам была объявлена королевская благодарность.

Между тем, в Сечи шли дела совершенно иначе, чем у нас. Там казаки не держали таких караулов, как мы, не производили учений, а упражнялись в беге, в плавании и лазании и три раза нападали на ближайшие деревенские огороды, таская только что показавшуюся морковь, связывая собак, выкрашивая их в различные цвета... Всё это делал Степан Нападайко, смеявшийся над бабьей армией, которая только упражнялась в маршировке.

Гауптвахта — помещение для содержания под арестом.

Многие из наших роптали на армейские порядки, находя, что глупо сидеть сложа руки да заниматься бессмысленными караулами бани и сада... Один из рядовых, Карпуша Чёрный, осмелился прямо заявить генералу о том, что надо действовать и не отставать от казаков.

— Как смеешь ты рассуждать! — грозно крикнул генерал. — Ты восстаёшь против распоряжений королевы и заслуживаешь предания суду. Но на первый раз я ограничусь меньшим наказанием: ты назначаешься в караул на гауптвахту на тройной срок!

— Я...

— Не рассуждать!

И Чёрный замолчал.

Надо заметить, что с образования армии Гриша Лавдовский и Засецкий вдруг начали держать себя совершенно иначе, видимо желая дать почувствовать своё главенство. Другой тон, другой взгляд! Закричат — и боишься, как будто не по своей воле подчиняешься, а несёшь настоящую службу... Даже на Анюту мы стали смотреть иначе: ведь от неё всё теперь зависело!

Не смея выразить своих мыслей перед начальством, армия продолжала роптать втихомолку.

— Это ни на что не похоже! — ворчал Чёрный, ставя на место ружьё и снимая бумажную кепи.

— Что такое? — спросил я.

— Ученье, ученье, и больше ничего!

— Чего же ты хочешь?

— Войны! Смотри — казаки! Любо!.. С этой девчонкой, — громче заметил он, — мы и сами скоро превратимся в девчонок!

Ратов испуганно обернулся назад. Но ни генерала, ни его адъютанта не было близко.

— Ну, смотри, — заметил Ратов, — попадётся!

— За что? Разве не правда? Да и пускай: я уйду в Сечь, там гораздо лучше.

— За побег ты будешь жестоко наказан.

— Эва! Да разве Сечь меня выдаст?

Но Чёрному не пришлось бежать, его желание исполнилось: через три дня было решено объявить войну слободским ребятам. Решила сама королева, и вот по какому случаю. Слободчане постоянно отличались буйством и забиячеством... Чаще всего они обижали девочек. Вечером того дня, когда Чёрный собирался бежать к казакам, слободчане облили водой двух девочек, возвращавшихся домой от Анюты Соколовой. Когда эта узнала про нападение слободчан на её подруг, она решила наказать их. Призвав генерала, она объявила ему:

— Собирайте армию и проучите слободчан... Да хорошенько!..

— Отличное дело! — отвечал генерал. — Армия давно уже хочет войны.

Узнавши о нашем намерении воевать с слободчанами, Сечь предложила нам свои услуги. Генерал нашёл помощь не лишнею, но повергнул свою мысль на рассмотрение королевы. Та согласилась с мнением генерала и прибавила:

— Я уверена, что победа будет за нами. Но мир может быть заключён только при том условии, если они обяжутся никогда вперёд не трогать ни одной девочки, проходящей слободою.

Генерал отправил Паню Лавдовского с ответом в Сечь. Предложение казаков принималось, и атаман приглашался для совещаний относительно предстоящей войны. Когда программа была выработана генералом и атаманом, от нас отправился посланец к слободчанам, чтобы объявить им войну. Посланец был выбран по жребию, который и пал на Карпушу Чёрного. Он явился в слободу, созвал четырёх коноводов и спросил их:

— Зачем вы облили водою двух девочек?

Ему ответили какой-то дерзостью.

— Тише! — крикнул на них Чёрный. — Я посол королевы, и за каждую грубость вы ответите перед армией!

Слободчане уже знали и об армии, и о Сечи.

— Убирайся ты подобру-поздорову! — загорячился один из слободчан. — А то мы вздуем тебя так, что вперёд не захочешь!

— Вы вот как? Знайте же: наша королева объявляет вам войну... Мы — враги...

Боясь, однако, чтобы и в самом деле не пришлось попросить угощения, Чёрный поспешил домой.

— Скажи ты своей королеве, что и ей то же будет, если она покажется к нам! — крикнул какой-то слободчанин вслед удалявшемуся Карпуше.

Чёрный донёс генералу, что поручение исполнил, и сообщил об угрозе слободчан.

— Им не удастся исполнить, — гордо сказал генерал.

Когда в этот же вечер королева отправилась ко всеобщей, её провожали три казака и трое рядовых. Они дождались окончания всеобщей и точно так же довели королеву домой.

Мы начали готовиться к войне. Генерал в один день сделал нам три ученья: мы скакали через канавы, лазали по деревьям, крышам сараев и срубам, ползали на животе и на четвереньках... Вечером явилась королева для смотра и лично объявила нам о войне.

— Ура! — закричали мы.

— Солдаты! — сказала она. — Вы идёте защищать слабых, и нет сомнения, заставите уважать своё имя!

«Ура!» было ответом на эти слова.

Королева удалилась, и генерал объявил нам, что завтра, в 8 часов утра, мы выступаем в поход.

V

БИТВА У СЛОБОДСКОГО КОЛОДЦА. ЗАМИРЕНИЕ

С края земли,
В знойной пыли,
Звук,
Стук
Слышен вдали.
То не обман,
Бьёт барабан,
Там
К нам
С западных стран
Вышли полки,
Блещут штыки.
В строй!
В бой!
Близки враги!

Граф Голенищев-Кутузов

Солнце лениво подымалось из-за опушки леса. Вся армия уже собралась у крепости. Мы были вооружены палками, запаслись ядрами, пулями и веревками. Вместо бумажных кепи — свои обыкновенные шапки; погоны сняты.

Армия была в походной форме.

Адъютант сидел на пне старой рябины и что-то чертил на бумаге карандашом.

Генерала ещё не было.

— А что, казаки уже готовы? — спросил я у Пани Лавдовского.

Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич (1848—1913) — русский поэт.

— Давно, — отвечал он. — Они дожидаются нас за Мартыновской баней... Говорят, мы там соединимся с ними.

Послышался пронзительный свисток и невдалеке показался генерал.

— В ряды! Стройся! — закричал адъютант, вскакивая с места.

Мы быстро выстроились.

— На караул! — скомандовал он, когда приблизился генерал.

Этот последний поздоровался с нами, принял от адъютанта чертёж и, просмотрев его, промолвил:

— Верно?

— Вполне, ваше превосходительство!

— Хорошо!

Он помолчал с минуту и тихо отдал приказ Грише:

— На плечо!

— На пле-е-чо! — скомандовал Гриша.

Мы взяли ружья «на плечо», и затем генерал обратился к нам с следующей речью:

— Солдаты! Вы в первый раз идёте в огонь... Но я уверен, что вы сумеете или победить, или умереть с честью! Наше дело правое! Не из корысти начинаем мы войну... Мы идём защищать слабых и дать им спокойствие на будущее время!..

Он остановился на минуту.

Не знаю, что чувствовал Коля Засецкий, разыгрывавший роль полководца, но мы с Паней Лавдовским с дрожью в теле слушали это воззвание. Сердце моё билось, замирало, я был близок к тому, чтобы совсем поверить игре, как правде. И, конечно, не я один находился в таком состоянии.

Генерал продолжал:

— Биться до последней капли крови! Не выдавать своих, бить врагов лихих; кто бьётся — того бить, кто сдаётся — того щадить... Команду знать, плана не забывать... Пароль — «все заодно».

— Ура! — закричали мы.

— Нужен охотник! — сказал генерал. — Найдётся ли такой храбрец, что согласится исполнить опасное дело?

— Я! — закричал первым Чёрный.

— Я... я... я... — раздалось несколько голосов.

— Молодцы! — одобрил генерал и прибавил: — Чёрный, выходи!

Чёрный вышел из строя.

— Молодец! — похвалил опять генерал. — Исполни всё как следует, и ты будешь награждён...

— Рад стараться, ваше превосходительство!

— Знаешь ли ты слободские мостки, идущие через канаву?

— Знаю, ваше превосходительство!

— Отправляйся туда, но так, чтобы неприятель тебя не видел, вынь колышки, разрушь мостки. Тебе придётся пробираться по задам дворов... Если слободчане увидят, тебе будет плохо!..

— Это было бы лучше сделать вчера вечером, — тихо заметил адъютант.

— Да, но я забыл, — ответил генерал, хмурясь. — Иди, — приказал он Карпуше. — Когда всё исполнишь, возвращайся к нам, мы будем у первого колодца.

По уходе Чёрного генерал развернул чертёж и показал нам, как расположены дворы в слободе, где и что находится и как лучше спастись в случае поражения. Этот чертёж набросал адъютант со слов атамана, отлично знавшего каждый вершок неприятельской земли.

Предполагалось действовать следующим образом: казаки спускаются в ров, идущий за дворами, и, пройдя по его дну, образуют засаду за ивами, у канавы, чрез которую проложены мостки. Эти мостки Чёрный разломает.

...слободские мостки, идущие через канаву — собственно, доски, утверждённые на деревянных козлах. (Примечание автора.)

Армия же разделяется на две части: пять человек (впоследствии, с Чёрным, шесть) располагаются у колодца, а десять ложатся за кустарниками, влево от колодца, саженьях в десяти-двенадцати. Генерал и адъютант начинают раздраживать слободчан и вовлекать их в битву. Когда неприятель войдёт в азарт и начнётся бой, все восемь человек бросаются в бегство, оставляя за собою, ближе к дворам, засаду. Она быстро выскакивает, перебегает дорогу и отрезывает отступление прямо и вправо. Тогда враги, вероятно, бросятся влево, чтобы через мостки убежать на свои дворы. Но мостков — нет. Они бросаются в канаву, но прежде чем успеют выбраться — казаки ударят на них.

Этот план, выработанный сообща атаманом и нашими начальниками, был утверждён королевой и всем нам показался отличным.

— Ловко проведём их! — восхищался Паня Лавдовский.

В исходе девятого мы выступили в поход.

В то самое время, как мы перебирались через пожню к колодцу, казаки и десять наших солдат двигались по рву, откуда наши должны были пробираться ползком до своей позиции за кустами.

Являлся вопрос: исполнит ли Чёрный поручение удачно и разгорячатся ли слободчане?

Два мальчика сидели в слободе на валу, у огорода, когда мы подошли к колодцу. Заметив нас, оба мальчика привстали и начали всматриваться.

— Где же ваше войско? — закричал адъютант.

Мальчики быстро скрылись за тыном.

Прошло минут десять. Всё было тихо. Никто не показывался; Чёрный ещё не возвращался.

Нам отдан приказ выстроиться, а начальники отправились к дворам неприятелей, с целью вызвать последних на бой.

— Если никто не выйдет, — последовал новый приказ, — присоединяйте засаду, идите к нам, а казаки пусть нападают сбоку.

Но не успели наши начальники пройти и половины расстояния, разделявшего нас от неприятельских домов, как из-за вала показалась кучка слободчан, человек в двенадцать. Впереди шли два взрослые парня — коноводы во всех драках и буйствах.

Наши шли твёрдо вперёд... Уже не более восьми шагов отделяло их от двигавшейся толпы слободчан...

И те и другие остановились.

— Что вам нужно? — закричал один из коноводов, по имени Клим Шестипалый.

— Зачем вы обижаете девочек? — крикнул в ответ генерал.

— А вы что за защитники девчонок?

— Да ведь они — бабье войско! — промолвил кто-то сзади коновода.

В толпе послышался смех.

— А вот мы вам покажем, какое мы бабье войско, — рассердился генерал и, выхватив из-за пазухи картофелину, пустил ею в коновода. «Пуля» ударила прямо в нос.

В толпе поднялся крик.

Генерал и адъютант послали в подарок ещё несколько «пуль». Тогда слободчане с криком ринулись вперёд.

В эту самую минуту Карпуша Чёрный как из земли вырос сзади нас.

— Кончено! — радостно заявил он.

— Ура-а! — заорали мы и дружно бросились на слободчан.

Завязалась битва. Высокий коновод нанёс такой удар нашему генералу, что тот едва устоял на ногах. Шестипалый хотел повторить удар, но Глушицкий уже был возле генерала, и они оба бросились на коновода.

Дело перешло в рукопашную. Старались смять друг друга. Шестипалый грохнулся о землю и увлёк за собою Глушицкого; двое слободчан подскочили к своему на помощь, но я с Паней Лавдовским ловко подставили им ноги —

и они кувыркoм полетели через лежавших. Глушицкий успел подняться, и мы все трое ринулись на коновода; на упавших слободчан налетел Карпуша Чёрный и схватил обоих за вороты их рубашек.

Мы повалили Шестипалого и в один миг связали бы его, но генерал велел бить отступление. Гриша Лавдовский подал сигнал, и мы, вспомнив план, в беспорядке бросились в бегство.

Слободчане вскрикнули от радости и кинулись преследовать нас. Им удалось захватить упавшего Паню Лавдовского. Тот закричал о помощи, но мы не могли терять времени и продолжали бежать. Двое слободчан повели пленника куда-то по направлению к огородам.

— Не обижать! — крикнул генерал грозно.

— Ладно! — насмешливо отозвались торжествующие слободчане.

— Не мучить, а то плохо будет! — ещё грознее повторил генерал, не переставая бежать.

Нам оставалось всего несколько шагов до колодца. Неприятель разгорячался всё более и более. Он гнал нас к лесу. Пробежав сажени две-три за колодец, мы вдруг остановились — и пронзительный свист огласил воздух.

То Чёрный подал сигнал засаде.

В тот же миг в тылу преследующего врага громко прокатилось победное «ура!» — и десять человек, перебежав дорогу, бросились на обманутых слободчан, которые остановились, удивлённые неожиданностью. Теперь они очутились между двух огней. Со всех сторон летели пули, угрожали штыками с тылу и фронта. Они растерянно метнулись вправо — но им преградили дорогу. Пули посыпались дождём, десять штыков готовы были принять, если бы кто дерзнул пробиться силою. Шестипалый попытался было на это, но его свалили и связали. Тогда вся толпа слободчан кинулась влево. Мы полетели за ними вдогонку, не переставая осыпать бежавших пулями, не щадя своих рук и не жалея своей одежды. Мы

спотыкались на бегу, попадали в ямы, но всё это было нипочём, мы продолжали преследование. Часть слободчан бежала, забывши вовсе о защите, но некоторые отражали наши удары — и отражали довольно чувствительно. Адъютант получил синяк; его щеки были красны... Генералу оцарапали нос. Но всех более досталось Чёрному, обременённому барабаном и рожком, которые висели у него на шнуре. Знаменосец давно потерял ружьё и теперь храбро дрался древком. Знамя было разорвано — но его не удалось вырвать врагу.

На всех парусах летели слободчане к мосту, не зная ещё о второй засаде и новой хитрости с нашей стороны. Но вот они подбежали ко рву — и остановились как вкопанные.

Моста не было, а мы уже настигали.

— В ров их! Толкай в ров! — закричал генерал.

— Ура-а! — было ответом на этот приказ.

Дождаться нашей «помощи» слободчанам, конечно, было невыгодно, и они, один за другим, начали скатываться в ров, надеясь взобраться на противоположный берег раньше нас и — понятное дело — восторжествовать тогда над нами.

Но вторая засада только ждала сигнала. Раздался свисток, и казаки с оглушительным криком бросились на слободчан. Появление нового врага окончательно ошеломило их.

— Да сколько же их ещё тут? — вырвалось невольное у второго коновода, растерявшегося на миг при неожиданном появлении казаков.

Он забрал воздуху и как стрела помчался по неровному дну оврага. За ним остальные. Но мы оцепили бежавших, и ни один из них не проскользнул домой.

— Вязать их! — скомандовал генерал.

Слободчане не захотели сдаться. Началась новая свалка, в которой немало досталось обеим сторонам... Но мы всё-таки одержали победу, и не более как через двадцать минут все слободчане были перевязаны.

— Покоряетесь? — спросил генерал.

— Что вам нужно?

— Дайте слово не обижать ни одной девочки; признайте себя побеждёнными и заплатите дань.

— Вы бог знает сколько потребуете!..

— Это — наше дело!.. Впрочем, мы сейчас скажем вам. Хотите вступить в переговоры?

— Ладно,— промолвил Шестипалый,— говорите!

Мы развязали его и тут же, во рву, на листке бумаги на-бросали следующие условия мира:

1) слободчане признают себя побеждёнными;

2) они обещаются не обижать ни одной девочки в течение всего лета и осени;

3) отдают нам камышовую трость, которою защищался Шестипалый;

и

4) платят контрибуцию: 100 морковей, 600 картофелин, 70 реп, 20 брюкв, 200 яблоков, 2 фунта орехов, фунт пряников и фунт рожков.

Для полного заключения мира назначено ближайшее воскресенье.

Мы прочитали эти условия Шестипалому, тот посоветовался со своими и согласился, прибавив только:

— Где же мы возьмём теперь брюквы, репы, яблоков? Ещё рано!

— Всё равно — после,— согласились мы.

— Ну, так ладно!

— Ты писать умеешь? — спросили Шестипалого.

— Умею немного.

— Подпиши фамилию!

— Это зачем же?

— Надо... чтобы ты не мог отказаться.

Шестипалый взял в руки карандаш и долго возился, потел и кряхтел, пока вывел какие-то каракульки, которые едва можно было разобрать. Он написал буквально следующее: *Сыгасин* (то есть согласен) *кЛым Шестип Алыи*.

Фунт — мера веса, равная 409,5 г.

Наш генерал ловко подмахнул: *Генерал Николай Засецкий*.

Атаман оказался неграмотным и поставил на бумаге крест.

После этого мы развязали одного слободчанина и послали его за Паней. Он вернулся в слезах.

— С тобой худо обращались?

— Меня били! — отвечал Паня.

Генерал принял внушительный вид и с достоинством произнёс:

— Я должен прибавить ещё одно требование...

— Чего же ещё вам? — возразил Шестипалый.

— Те, которые били Лавдовского, должны быть преданы суду!

— Какому суду?

— Разумеется, нашему, военному суду!

Шестипалый был против этого и предложил накинуть фунт изюма в пользу Пани. Спросили Паню: согласен?

— Да, — ответил он.

— Твоё дело! — промолвил генерал, не совсем, однако, довольным тоном. Он находил, что «суд» лучше поддержал бы честь армии. Но, с одной стороны, дело касалось лично пленного, а с другой — видно было, что на «суд» склонить слободчан трудно: им это казалось почему-то «страшным».

— Твоё дело, — повторил генерал, и условия были утверждены.

Через несколько минут слободчане выстроились в ряд и наклонили головы в знак покорности. Они стояли так всё время, пока мы проходили мимо их, с ружьями «вольно» и с громкою песнею:

Из слободки мы пришли
С собой славу принесли,
С собой славу принесли,
Ордена и кресты!..

В этот же день, вечером, генерал лично поздравил королеву с полной победой и счастливым окончанием войны. Мы собрались у крепости в ожидании возвращения генерала от королевы. Он передал нам её благодарность и прочёл список наград. Сам генерал получил крест и широкие золотые погоны, адъютант — золотую звёздочку на грудь, знаменосец — медаль, Чёрный — звание унтер-офицера, Паня — медаль и свой фунт изюма. Остальная контрибуция распределялась между всеми рядовыми армии.

Казачи ничего не получили, кроме благодарности от королевы. Это обидело их, и в особенности атамана.

— Если так,— заявил он,— Сечь прекращает свои дружеские отношения. Мы более не союзники... Мы присоединимся к кому захотим. И тогда...

— Что же тогда? — полюбопытствовал генерал.

— Зададим вам лупку хорошую... Вот что!

— Ещё посмотрим! — гордо возразил генерал.

VI

КАЗАКИ ВРЕДЯТ НАМ. МЫ РЕШАЕМСЯ ИСКАТЬ НОВЫХ СОЮЗНИКОВ

Между тем, прошли два дня, настал срок для заключения полного мира. Генерал и адъютант отправились на условленное место, куда явился вскоре и Шестипалый с своим другом-приятелем, которого мы называли вторым коноводом.

— А где же атаман? — спросил Шестипалый.

— Его нет,— отвечал генерал.

— Отчего?

Унтер-офицер — воинское звание младшего командного состава (примерно то же, что современный сержант).

— Я почём знаю. Да на что он?

— Как на что? А мир-то заключить?

— Но мы ведь здесь, — сказал Засецкий, указывая на себя и своего адъютанта.

— Одних вас мало. Ведь и казаки воевали с нами!

— Они только помогали... А война была объявлена армией от имени королевы. Вам нет дела до Сечи.

— Ну, нет, погоди! — возразил Шестипалый. — Этого нельзя. Я без атамана не буду заключать мира!

— А твоя подпись?

— Какая подпись? Где?

— А это что? — сказал генерал, вынимая бумажку.

— Ну-ка, покажи!

Засецкий ещё не успел, что называется, глазом моргнуть, как Шестипалый вырвал из его рук бумажку и с громким хохотом разорвал её...

— Это что же такое? — растерянно воскликнул генерал. — Ведь так нельзя!

— А вот, стало быть, можно, коли сделал! — ещё громче захохотал Шестипалый.

— Значит... вы нарушаете мир? — сказал генерал, оправляясь и принимая соответственный вид и тон.

— А что? Вы опять воевать?

— Да, если вы...

— А ну-ка, суньтесь теперь-то...

— Что же?

— Теперь не то... Стёпка-то за вас не пойдёт!.. Он теперь и сам ещё поможет вздуть бабье войско...

Сконфуженные и обескураженные явились домой наши начальники.

Конечно, все мы узнали, в чём дело.

— Что-то теперь они станут делать? — думали мы, под-разумевая под словом «они» своих начальников.

— Знает ли королева? — любопытствовал Шульц.

Она ничего не знала: генерал ни слова не сказал ей. Он долго совещался о чём-то с адъютантом и, наконец, вечером отправился к Степану... Зачем, он не сказал никому, но мы опять, разумеется, узнали. Оказалось, что генерал хотел помириться с атаманом и уговорить его идти снова на слободчан.

— Нет, теперь уж поздно,— отвечал Степан.— Больно вы горды с своей королевой, так сами и проучивайте слободчан...

— Мы всё поделим поровну,— убеждал Засецкий.

— Не надо нам... Мы сами добудем!.. Да и некогда нам... У нас своё дело.

— Какое же дело-то?

— Мы войну ведём с прилучанами. Мы завтра их так раскатаем, что на поди!.. Нод себя покорим и вечную дань на них наложим!..

— Вам трудно одним-то... Вы помогите нам, а мы вам поможем!

— Не надо, одни справимся!.. А то и слободчане нам помогут!

— Вам-то?

— Что ж такое? За то и мы им поможем.

— Против нас?

— Экое диво! Нешто мы присягали вашей королеве? Разве мы подданные ваши? Мы — особ статья... Мы — казаки!..

Как ни уговаривал Засецкий — атаман оставался непреклонен.

А в этот же вечер один из слободчан забросал грязью сестру Чёрного. Брат сообщил об этом генералу и указал на необходимость хорошенько проучить слободчан.

— Не твоё дело решать! — оборвал его Засецкий.

— А чьё же? — дерзко спросил Карпуша.— Вам самим ничего ведь не выдумать!

— А, ты снова грубить! Это — нарушение дисциплины... Я предаю тебя суду!.. А теперь — арестуйте его! — приказал генерал.

— Держи! — засмеялся Карпуша и, ловко оттолкнув Глушицкого, который было хотел схватить его, убежал из огорода.

Он перешёл к казакам. Одним человеком — и очень ловким — стало в армии меньше.

— Это что же... Пожалуй, так и все разбегутся! — роптал Шульц.— Так нельзя играть... Надо слушаться!..

— Его надо поймать!

— Разумеется!

По армии было объявлено, что Чёрный — изменник, и всякий, кто представит его на суд, получит в награду чин унтер-офицера и крест.

Так порешили наши начальники вечером того же дня, когда перебежал Карпуша. На следующее утро их ждал новый сюрприз: наша крепость была полуразрушена.

— Кто это сделал? Кто? — спрашивали мы друг друга.

— Это дело Стёпки! — говорили одни.

— Нет, это слободчане!.. — уверяли другие.

— Ни те, ни другие... это — Карпушка! — сказал генерал, и он был прав.

Чёрный не скрывал своего «удалого дела», за которое получил от атамана в награду звание *кошевого*.

— Вот как мы-то!.. Не по-вашему! Знай нас! — хвалился Чёрный, встретив меня на улице.

Наши дела были не блестящи. Пришлось снова поправлять крепость; но как её сохранить от нападений казаков? Ночью караула не было. И кто же станет караулить ночью?..

Однако мы поправили крепость.

Но её снова разрушили ночью.

— А! Это уж война! — сказал генерал.— Что же! Война так война!.. А уж Карпушке мы отомстим, только попадись!..

Но как воевать, если у нас было всего семнадцать человек, а одних казаков больше, не считая слободчан?

— Нужно вербовать ещё в армию! — посоветовал адъютант.

— Как вербовать? Как Фридрих Великий — силой? — спросил генерал.

— Ну, нет, силой что же: сбегут!.. А заманивать, уговаривать!.. Или вот что, ещё лучше...

— Что?

— Соединиться с прилучанами. Их тоже немало... А вместе мы одолеем и слободчан, и казаков.

— Да, это недурно!.. А вербовать тоже не мешает!

Нас рано утром собрали у разрушенной крепости и объявили нам, что:

1) каждый обязан стараться завербовать кого-нибудь в солдаты;

2) ловить Чёрного, который объявляется изменником и предаётся суду; к чему суд приговорит Чёрного, то будет выполнено над ним по его поимке.

Для ознакомления с прилучанами меня и Глушицкого посылали в Прилуки: разведать и разузнать, что можно...

— А завтра, около вечерен, собраться опять здесь, — приказал генерал, — будет суд над Чёрным. Считайте казаков и слободчан врагами и вредите в одиночку как тем, так и другим... Скоро мы открыто объявим Сечи войну.

Нас распустили... Все пошли по домам, а мы с Глушицким начали совещаться о поручении, какое возложило на нас начальство.

— Надо во что бы то ни стало уговорить прилучан, — решил Глушицкий.

— Да, конечно, — соглашался я. — Мы должны покорить казаков, потому что Степан только атаман, а у нас королева!.. Они должны быть в зависимости от нас.

— Рано ли же мы отправимся завтра? — спросил Глушицкий. — Часов в девять?

Фридрих Великий (1712—1786) — прусский король, выдающийся государственный и военный деятель.

— Ладно!

Мы порешили на этом и расстались.

«А хорошо бы поймать Чёрного!» — думали мы оба, каждому из нас хотелось получить крест и сделаться унтер-офицером.

VII

РАЗВЕДЧИКИ АРМИИ

Накрапывал мелкий дождичек, когда мы вышли с Глушицким за город. Нам предстояло пройти около пяти вёрст.

— А что, если дождик усилится? — заметил Глушицкий, тревожно поглядывая на надвигавшуюся тучу.

— Можно ожидать — ответил я.

— Дело выйдет скверно! Нас смочит!

— Эка важность! — сказал я. — Разве мы девочки? Мы солдаты, а солдаты не должны бояться ни холода, ни жары, ни дождя, ни вьюги...

— Оно конечно, — согласился Глушицкий, снова взглядывая на тучи.

Мы шли по небольшой тропинке, пролегавшей неподалёку от столбовой дороги. Слева от нас шумел лес, справа был луг. По высокой, ещё не скошенной траве от ветра ходили волны, точно на море.

— А что, если на нас нападут? — вдруг промолвил Глушицкий.

— Кто?

— Да враги!

— Слободчане?

— И слободчане... и казаки, пожалуй!

— С чего же казаки-то? Ведь мы ещё войны не объявляли?

— Что ж такое? Всё равно: мы в ссоре, и этого довольно... Попадись теперь Карпушка...

— О, его-то нам славно было бы встретить! — воскликнул я.

— Ты хочешь его на суд представить?

— Разумеется...

— Нелегко, брат!.. Чёрный ловок!.. Да и силён! А попадись он не один, так нам плохо будет!

— Ну, что ж делать! В военное время бывает всяко... Чья возьмёт!

Мы воображали себя заправскими «разведчиками» и, опасаясь неожиданной встречи с врагом, шли, оглядываясь по сторонам и зорко всматриваясь в каждое подозрительное место, где, по-нашему мнению, могла быть засада... А дождь становился крупнее и крупнее... Тёмные, будто свинцовые тучи заволокли всё небо.

— Пойдём поскорее, а то нас захватит ливень, чего доброго, — сказал Глушицкий.

— Беглым шагом, значит? — спросил я.

— Да.

— Марш!..

И мы пустились бегом.

Дождь хлынул как из ведра, и хотя уже показались хаты Прилук, но мы порешили переждать его, укрывшись на первом встреченном нами сеновале.

По худой, еле державшейся лестнице влезли мы в слуховое окно сеновала и расположились на отдых.

А дождь так и хлестал, стуча по крыше сарая.

— Хорошо, что мы добрались сюда, — довольным тоном заметил Глушицкий.

— Да, — согласился я.

Конечно, солдаты должны всё переносить, но ведь приятнее же остаться сухим, нежели промокнуть до костей.

Ливень перестал не скоро. Но, наконец, туча пронеслась. На небе прояснило, блеснул луч солнца.

— Теперь в путь,— сказал Глушицкий,— нечего медлить!

Мы выбрались из-под сена и подошли к окну... Лестницы как не бывало! Она упала, вероятно, от ветра.

— Как же тут быть? — спросили мы друг друга.

— Разве соскочить?

— А как ушибёшься?

Мы задумались.

— Вот попались-то! — промолвил Глушицкий.— Напади на нас теперь враги — мы в их руках!

— Ну нет, шалишь! Я стану защищаться и ни за что не пущу их сюда!

— Есть у тебя кушак? — спросил Глушицкий.

— Есть ремень.

— Давай его сюда.

Он взял мой ремень, привязал к нему свой пояс и, высунувшись из окна, смерил, хватает ли до земли.

— Коротко... Давай ещё платок.

Я подал. Он привязал его к кушаку, смерил снова и воскликнул:

— Теперь отлично! Я буду держать, а ты спускайся.

— А как же ты-то потом?

— Экой ты недогадливый! Спустишься и подставишь лестницу. Понял?

— А... а! Теперь понял. Смышлён же ты, брат.

— Ещё бы, не в тебя!.. Ну, полезай же!

Глушицкий обвязал себе пояс вокруг талии и, упершись одной ногой в бревно, спустил свободный конец за окошко.

Я осторожно вылез в окно, ухватился обеими руками за ремень и начал спускаться, упираясь носками сапогов в стену. Вдруг — трах! — ремень оборвался, и я полетел на землю, следом за мною грохнулся и Глушицкий.

Мы не особенно ушиблись и потому, испугавшись сначала, через минуту весело расхохотались.

— Как это ты упал? — спросил Глушицкий.

— Да ремень оборвался.

— Ха, ха, ха! А я нагнулся, чтоб посмотреть, как ты слезаешь, ты вдруг рванул — я не удержался и тоже кувырнулся.

— По-по-ле-тел!..

Мы едва могли говорить от душившего нас смеха.

— А вы тут что делаете? А? — раздался чей-то голос вблизи нас.

Мы быстро вскочили на ноги. В нескольких шагах от нас стоял рослый крестьянский парень лет семнадцати, в рубахе и без шапки.

— Что вы тут делаете? — повторил он снова.

— Да с сеновала упали,— отвечал я.

— А зачем вы туда залезли? Кто вас просил?

— От дождя.

В эту минуту к нему подошли ещё трое парней, из которых один был его лет, а двое — моложе.

— Чего им надо? — спросили они у товарища.

— Да кто их знает!.. Эй вы, городские булочники, чего вам надо?

— Вы сами-то кто? Прилучане? — спросил Глушицкий.

— Прилучане, вестимо.

— Да что вы зубы-то заговариваете? — крикнул старший парень. — Ребята, берите-ка их да вяжите!

— Что вы, что вы! — закричали мы оба.— Мы к вам с добрым предложением пришли... Помочь хотим... Знаете вы армию?

— Какую ещё там армию? Это вы не из Стёпкиной ли шайки, а? Оттуда, видно, и есть!.. Вяжи их, ребята, угостим-ка их на славу крапивой, чтоб не баловались...

Все четверо набросились на нас.

— Да что вы? Мы вовсе не от Стёпки... Стёпка атаман казаков, а мы из армии. Стёпка хочет сегодня ночью напасть на вас, мы и пришли предупредить вас об этом да звать соединиться с нами; давайте вместе вздуем казаков.

Прилучане остановились в нерешительности.

— Слушайте их! Они вам наскажут! — закричал рослый парень, который увидел нас ранее других. — Вишь, что поют. Знаем!.. Видать, что от Стёпки. Высматривать подосланы!.. Зададим мы вам баню!

Как мы ни убеждали, как ни уговаривали — ничего не помогло. Нас повели в деревню и заперли в сарай.

— Посидите тут маленько! А ты, Карась, смотри, карауль!.. — приказал старший из ребят.

С этими словами трое прилучан ушли, а четвёртый остался у дверей сарая.

— Вот так штука! — воскликнул Глушиций. — Ведь, чего доброго, нас взбучат! Надо бы бежать!

— Да как?

Мы начали осматривать сарай.

— Гляди! — радостно воскликнул Глушицкий, указывая рукою на отверстие в углу, у самой земли.

— Ведь пролезем!

Мы кинулись к щели.

— Обчищай скорее!

Мы дружно начали выгребать землю.

— Ну-ка, теперь попробуй!

С немалым трудом я вылез наружу.

— Где они, где? — слышались громкие голоса подходящих ребят.

— Здесь, в сарае...

— Крапивы-то нарвал?

— Нарвал.

Я мог бы бежать и скрыться, но оставить товарища одного — было постыдно. Я прямо пошёл к толпе ребят.

— Что вы хотите делать? — закричал я. — Как вы смеете трогать послов великой армии?..

— А, ты уж выскочил? За это прибавить надо... Вали его, ребята!

— Остановитесь! — кричал я. — Дайте мне всё сказать...
Погодите минуту!

В толпе поднялись крики: одни не хотели давать мне говорить, другие же требовали, чтобы меня выслушали. Последние взяли, наконец, верх. Меня окружили и слышались голоса:

— Ну-ка, что там?.. Рассказывай живей, да не ври смотри!..

— Шила в мешке не утаишь,— сказал старший парень, по прозванию Голован.— Коли и в самом деле вы пришли без хитрости и говорите правду, то это окажется; тогда, знайте, мы пристанем к вам и уж не выдадим, головой стоим!...

— Мне нечего вас обманывать,— заметил я.— Степан хочет напасть на вас сегодня вечером. В городе ведь не одни только казаки, есть и армия... Мы посланы от армии... Нас семнадцать человек... Хотите с нами... у нас есть королева.

— Чего он такое мелет? Какая там королева? Да врёт он всё, братцы! Что его слушать? Вали его да тащи того из сарая, мы им обоим покажем такую армию, что на поди.

Я бросился было с целью прорваться через толпу ребят, но меня сразу повалили и... «посол великой армии» подвергся унижительному наказанию.

Той же участи подвергся и мой товарищ.

VIII

СУД НАД ЧЁРНЫМ

Первым нашим делом по возвращении домой было обратиться к королеве.

Горько жаловались мы ей и не пожалели красок, чтобы представить поступок прилучан во всём его безобразии. Королева, разумеется, тотчас же вспылала справедливым гневом, позвала к себе генерала и потребовала мщения.

Нас заставили ещё раз повторить свой рассказ, но генерал принял известие о наших приключениях совершенно иначе.

— Прилучане почти согласны быть нашими союзниками! — воскликнул он с живостью. — И прекрасно!.. Мы тогда будем представлять силу вполне несокрушимую!

— Что вы говорите! — горячилась королева. — наших послов оскорбили, и мы должны вступить за своих.

— О, без сомнения, ваше величество! — согласился генерал. — Но надо помнить и то, что если мы двинемся на прилучан, то казаки воспользуются этим и перевернут здесь без нас всё вверх дном. Да и войска у нас против них совсем мало; там все парни — силачи; того и смотри бока намнут.

— Так что ж вы думаете делать? Ведь этого так оставить нельзя?

Генерал пожал плечами.

— Я думаю, — начал он важно, — что гораздо будет лучше не обращать на эти пустяки никакого внимания. Тогда, по крайней мере, мы в прилучанах всегда будем иметь верных союзников!..

Ему очень хотелось побить казаков.

Мы с Глушицким не были довольны этим решением, но в то же время хорошо понимали и то, что рискованно вступить в борьбу с прилучанами, их было много, мы должны идти в их землю, и на нас казаки могли легко напасть с тылу на возвратном нашем пути в город. Эти доводы убедили и королеву. Спустя два дня, явившись к месту сбора, я заметил необыкновенное оживление в армии.

— Чёрного изловили! Наши мостки на пруде снимал, его и накрыли, — отвечали мне. — Сейчас судить будут. Вот и генерал идёт.

Действительно, к нам шёл Засецкий в сопровождении адъютанта. Они были в полной парадной форме: в новых бумажных треуголках и при деревянных саблях. Лица их были серьёзны.

— Приведите беглеца,— отдал приказание адъютант, когда все заняли свои места.

Чёрный, со связанными назад руками и спутанными ногами, предстал пред лицо правосудия.

— Прежде всего,— начал генерал,— нам необходимо знать, было ли сегодня ночью нападение казаков на прилучан? Подсудимый, отвечай!

— Ещё бы! Конечно, было,— Чёрный прищурил левый глаз и многозначительно причмокнул языком. Он один не придавал суду никакого значения.

— Что ж вы там сделали? — продолжал допрашивать генерал.— Мы посылали к прилучанам послов, чтобы предупредить их о вашем нападении... Вероятно, вы не застали их врасплох?

— Н-да!... А всё-таки наша взяла! — отрезал Чёрный.

— Это как же?

— Да так: когда мы встретили отпор, то сейчас же и убрались подобру-поздорову... А потом, когда прилучане разошлись по домам: «наше дело, мол, в шляпе» — мы и свалились им как снег на голову, вечером, когда многие совсем уж спать полегли или пошли гулять!.. Голованову белую лошадь вымазали дёгтем: пегашкой стала!.. Отвязали лодку Карася и оттолкнули её от берега... У Федьки — чучел в огороде снимали, да и ушли, никого не потревожив... Вот мы как! — И рассказчик самодовольно осклабился. Он молодецки тряхнул кудрями.

— А что, небось, прилучане посулили вам свою помощь против казаков за донос-то? — вдруг дерзко спросил он, обводя плотно сдвинувшуюся кучку зрителей глазами.

— Это не донос! — закричали все единогласно.— Мы дружимся с ними... Они за нас обещались горой стоять... А мы за них!..

Шум продолжался несколько секунд.

— Прочтите обвинительный лист,— сказал генерал адъютанту.

Последний развернул бумагу и начал по пунктам:

— *Во-первых*, в том, что он перебежал из армии к казакам; *во-вторых*, Карп-Чёрный обвиняется в том, что он разрушил наши мостки на пруде; *в-третьих*, в том, что он руководил набегом на дружественных нам прилучан.

— Подсудимый, что имеешь сказать в своё оправдание? — обратился к Чёрному генерал.

Чёрный только громко захохотал в ответ на эти слова.

— Ты этим усиливаешь свою вину, — заметил адъютант. — Что с ним делать? — обратился он ко всем присутствующим.

— Расстрелять! — было единодушным ответом.

— Ах вы, мозгляки! — зашипел Чёрный.

Генерал подписал приговор суда, а королева его утвердила. Чёрного привязали к дереву носовым платком и генерал приказал каждому из нас запасть по одной картофелине.

Мы живо сбегали в огород и возвратились, вооружённые нашими «пулями».

— Вот только троньте меня, — грозил Чёрный, — так казаки зададут вам встрёпку.

— Раз! два! три! — скомандовал адъютант, и штук пятнадцать картофелин полетело в Карпушу.

— Ах вы, пострелята! — завопил он. — Погодите же!..

Его отвязали и пустили на волю. Он был багровый от бешенства.

— Попомните же вы меня! — злобно кричал он, улепётывая во всю мочь.

IX

ПОЖАР

Прошло дней пять...

Я только что сел за обед, когда вдруг на Спасской колокольне ударили в набат. И чем дальше, тем он становился

всё сильнее и тревожнее... С грохотом пронеслась мимо нашего дома пожарная команда третьей части. Народ торопливо бежал на пожар.

— Где горит? Где горит?.. — слышались вопросы с разных сторон.

— Во второй части!

— Лавки горят!

— Ври больше!.. Гимназия женская горит!..

Я выскочил из-за стола и побежал на чердак, чтобы посмотреть в слуховое окно, сколько шаров на каланче.

В сенях я столкнулся с Паней Лавдовским.

— Скорее, скорее, — промолвил он, подавая мне руку.

— Куда? Где горит?

— Женская гимназия... Меня послал брат... Королева велела... Забегал Засецкий...

Лавдовский запыхался от усталости и говорил отрывисто.

Я отказался от обеда, и мы побежали. Уже дорогой Паня объяснил, что сейчас был у них Засецкий и велел собирать армию и спешить на пожар.

— Я уже трём дал знать, — говорил Лавдовский, несясь во всю прыть, — сейчас забежим к Бунаковым и скажем им...

— Да зачем всё это? — спрашивал я, не отставая от товарища.

— Королева велела... Ведь говорю тебе, что женская гимназия горит... А там подружки-пансионерки Соколовой и любимая классная дама — Муромцева!..

— Ну, так что же? Ведь на то пожарная команда... Мы разве пожарные?

— Да ведь солдаты бывают на пожарах? Вот и мы потому... будем помогать... Ах, вот что: забеги к Шульцу, а я к Бунаковым заверну...

— Ладно!

...сколько шаров на каланче — посредством кожаных шаров, вывешиваемых на каланче (наблюдательной пожарной башне), производилось оповещение о размерах и месте возникновения пожара.

Шульца я уже не застал, он убежал на пожар, уведомлённый Засецким. Я стрелою полетел туда же.

Большое здание женской гимназии было окутано дымом, который клубами поднимался к небесам. Слышался треск лопавшихся стекол и вслед за ними наружу вылетали языки пламени, лизали стену, крышу и потухали.

Мы невольно остановились, поражённые страшною иллюминацией... А кругом в воздухе стоял гул и стон. Крики пожарных, толпы, ржание лошадей и треск горевшего здания — всё слилось в один оглушительный рёв. Пожарные бегали с лестницами, ломали баграми соседние заборы и разбрасывали склады дров — самое опасное место: загорись дрова — и огненное море залило бы целый квартал.

— Что же вы тут стоите, зевая? — вдруг раздался за нами грозный голос.

Мы оглянулись — и увидели Засецкого.

— Марш на двор, — крикнул он, — там наши качают воду и помогают выносить вещи... Живо!

Мы опрометью кинулись туда, куда нам было приказано. На гимназическом дворе у колодца толпа «наших» с невыразимым рвением качала насос, отданный полицией в полное распоряжение «добровольцев», среди которых было немало сильных и рослых. Рукавом машины, проведённым в окно актовой залы, управлял помощник брендмейстера.

В ту минуту, как мы с Паней подбежали к машине, мимо проходил вице-губернатор. Увидев группу «наших», по преимуществу гимназистов, он произнёс с доброй улыбкой:

— Вот молодцы! Славно!..

Наши дружно откликнулись:

— Рады стараться, ваше превосходительство!

Мы присоединились к товарищам. Но через несколько минут подбежал Засецкий и крикнул:

— Шестеро за мной!

Брендмейстер — начальник пожарной команды.

Дмитрий Бунаков, Доброумов, Скрябин, Шульц, Паня Лавдовский и я поспешили за генералом... Бунакова, Доброумова и Скрябина он послал к тем, которые спасали от огня гимназическое имущество, а нас троих провёл в сад, где в беседке стояла различная мебель и были сложены в груду несколько узлов. Возле одного из них, вероятно выпавши из него, валялся небольшой ящичек чёрного дерева.

— Это всё принадлежит Лидии Павловне Муромцевой, и вы стойте тут и караульте, пока не придут за вещами... Я сам приду тогда или пришлю Гришу... Без нас никому не отдавать ни одной порошинки!..— начальнически закончил Засецкий.— Это приказ самой королевы,— добавил он, удаляясь.

Вблизи никого не было, и мы ответили, делая под козырёк:

— Слушаем, ваше превосходительство!

«Наши» продолжали работать... К ним присоединились и другие гимназисты, не принадлежавшие к армии. Одни качали воду, другие (в числе этих были Скрябин, Бунаков-старший и Доброумов) спасали вещи, выбрасываемые из окон, или, взобравшись на лестницы, принимали те предметы, которые нельзя было выбрасывать.

Бунаков и Доброумов очень ловко управились с двумя дорогими картинами, осторожно вынесли в безопасное место какой-то физический прибор и спасли зеркало, которое горячий доброволец из мещан хотел бросить прямо на землю с третьего этажа... За то обоим им и пришлось поплатиться довольно чувствительно, хотя и различно: Бунакова так сильно ударило балкой, что он слетел с лестницы (к счастью, когда был уже низко) и затем едва поднялся, а Доброумова окатили с ног до головы какой-то мутной жидкостью, испортив новенькую летнюю пару, в которой он, впопыхах, примчался на пожар... Нам, караулившим вещи в беседке, было лучше всех.

— Но долго ли же, однако, нам тут стоять? — полюбопытствовал Шульц.

Он находил, что очень скучно торчать возле узлов, и пытался бросить пост, чтобы действовать заодно с другими... Остаться без него нам не хотелось, да и казалось небезопасным — он отличался порядочною силой. И вот, чтобы удержать его, мы напомним о наказании за бегство с караула.

— А что же будет? — засмеялся он.

— Смертная казнь!

— Вроде той, как с Чёрным? Э, нет!.. Так можно всю армию разогнать... Не рука!

— Но это приказ королевы!.. Да и вещи растащить могут... Мы что одни сделаем?.. Ты всех нас сильнее!

— Ну, какой тут приказ! — махнул он рукою. — Ведь не взаправду же мы солдаты, а она королева... А вот насчёт вещей — это дело... Ну ладно, не уйду...

Пожар уже кончался, когда явился Гриша Лавдовский и отпустил нас домой. Многие уже ушли ранее, но некоторые всё ещё качали воду.

— Ну, господа, это почище войны, — заметил Глушицкий, подходя к нам.

— Да и полезнее, — промолвил младший Бунаков, также присоединяясь к нашей партии.

— Конечно! — согласились мы с Паней.

— Однако не на все же пожары мы будем ходить? — задал вопрос Шульц.

— Надо полагать, — решил я. — А впрочем, как королева...

— Ну, это мы посмотрим!.. — улыбнулся Шульц.

— Господа, — объявил генерал, подходя к нам, — завтра около вечерен собраться у гауптвахты... Будет королева... Слышите?..

— Хорошо! — устало произнёс Скрябин.

В назначенное время мы собрались почти все. Но королева не явилась: она простудилась на пожаре и схватила флюс.

Именем её генерал поблагодарил всю армию и особенно тех, кто спасал и хранил имущество Муромцевой. Всем солдатам назначались в награду медали с надписью «За труды на пожаре». Генерал награждался звездой, Гриша Лавдовский — крестом. Старшего Бунакова королева произвела в офицеры, Доброумову изъявила «особенную благодарность», меня и Глушицкого, принимая во внимание разведки у прилучан, — в унтер-офицеры!..

Прочитавши список наград, генерал объявил всей армии роспуск на неделю. Но эта недельная вакация продолжалась гораздо дольше. Наступили дожди, затем классы, осень — и наши игры были отложены до зимы.

Часть вторая

I

В ЗАПАСЕ. КОРОЛЕВСКИЙ ДЕКРЕТ. НОВЫЙ СОСТАВ АРМИИ

Всю осень армия была распущена. Некоторые находили, впрочем, что незачем совсем прерывать игры, можно-де пользоваться хорошими днями и досугом... Но уроки и ненастная погода мешали сборищам. Иным даже и наскучили игры, или, правильнее, не сами игры, а та дисциплина, которую старались поддерживать генерал с адъютантом, действуя именем королевы. Сперва, пока всё было внове, армия охотно всему подчинялась, оказывала почёт королеве, и даже вне игры, встречаясь с Соколовой где-нибудь, солдаты звали её величеством и считали себя обязанными исполнять всякое её приказание... «Королева велела» — и кончено... Так делалось потому, что так нравилось. Постоянные сборища как будто и поддерживали это общее настроение. К концу лета дисциплина ослабела, и всё чаще и чаще начали повторяться случаи непослушания. Но это были единичные случаи. Генерал принимал меры, и порядок опять водворялся. Но вот произошёл перерыв в играх — и дух подчинения совсем почти исчез. Большинство прямо говорило: «Мы теперь не играем, а потому и знать ничего не хотим... Мы дали присягу, то есть честное слово, на время игр... Тогда Аня была для нас королева, а теперь она Аня Соколова, гимназистка и ничего больше». Генерал и Гриша Лавдовский смотрели на дело иначе... Они возражали: «Игры не прекратились, а лишь временно прерваны; следовательно, солдаты как бы в запасе и обязаны повиноваться генералу». Кoryтов и Шульц разбивали этот довод: они указывали на приказчика местной лавки, который числился в запасе. «Какое ему дело

до генерала Паренцова? Он его и знать не хочет...» Но наш генерал стоял на своём и объявил: кто теперь не признаёт себя солдатом, тот после не будет принят в армию... И вот, чтобы проверить, кто как смотрит на дело, он начал отдавать изредка отдельные приказания. Так, однажды, встретив во время перемены меня и младшего (Алексея) Бунакова, он приказал нам «завтра непременно быть в театре». — «Будет королева,— сказал он,— и вы её должны встретить в гардеробной, помочь раздеться, а затем, после театра, проводить и усадить в экипаж».

Мы исполнили в точности приказание, прибыв в театр, когда ещё не зажигали ламп... Оказалось, что ранее такой же приказ был отдан Глушицкому и Кобытову, но те решительно отказались его исполнить. Королева очень мило поблагодарила нас и познакомила со своим девятилетним братом Колей, который собирался, по возобновлении игр, поступить в армию... Засецкий назвал нас «молодцами».

Спустя неделю мне пришлось оказать настоящую услугу королеве. Я встретил её на улице. Она приветливо ответила на мой поклон и осведомилась, куда я иду.

— Гуляю просто,— ответил я.

— Счастливец! А я вот ищу «Литературу» Полевого и не могу найти. В библиотеке взята. Была у Гусевой и Коронацкой — нет...

— А вам очень нужно?

— Очень. И не позже сегодняшнего вечера. А что? Разве вы можете достать?

— Не обещаю наверное, но, кажется, могу...

— Ах, достаньте, пожалуйста! — воскликнула она.

— Слушаю-с! — произнёс я, переходя в надлежащий тон.

— Пожалуйста! — улыбнулась она невольно.

Я побежал за книгой в Роценскую улицу. Оказалось, что книга отдана учителю турундаевского сельского училища. Я полетел туда — за четыре версты. Учителя не было дома. Я стал дожидаться. Он вернулся только к вечеру.

Получив необходимое, я полетел к королеве. Совсем уже смерклось. Грязь ужасная. В одном месте на меня напали собаки, и я едва спасся от них, завернувши в лавочку.

Аня уже потеряла надежду получить Полевого и была чрезвычайно обрадована, когда я явился с книгой.

— Ах, как я вам благодарна!..— воскликнула она искренно, пожимая мне руку.— Вы, вероятно, далеко ходили?

Я рассказал все мои приключения.

— Сколько трудов вам было!.. Спасибо, спасибо!

Она была очень довольна.

Пожимая на прощанье руку, она прибавила шутливо, улыбаясь:

— Если я буду ещё вашей королевой, я скажу, чтобы генерал вас особенно наградил...

Я поклонился и ушёл также счастливый.

Спустя несколько дней Коля Соколов пригласил к себе в гости меня и Алёшу Бунакова... Были мальчишки и девочки... Мы играли в жмурки, в цветы, в карты и в фанты. В последней игре участвовала и Аня. С этих пор мы с Бунаковым нередко бывали у Соколовых.

Начали поговаривать о возобновлении игр, о созыве армии. Зима установилась прекрасная, и многие находили, что теперь ещё лучше, чем летом, вести войну: можно строить крепости и делать ядра из снега. Это мнение вполне разделял Засецкий и отвечал постоянно, что «скоро запас будет призван на службу». Однако время шло, а игры не начинались... Охотники до них начали роптать и намеревались образовать новую армию, поручив главенство Ржаницыну, сильному, рослому ученику духовного училища... Тогда Засецкий объявил решительно, что приступает к делу.

Нас распустили на рождественские каникулы. И вот на другой же день я получил по городской почте письмо. Вскрыв его, я нашёл красный билетик, на котором ясно и мелко рукою Гриши Лавдовского было написано: «Унтер-офицер (такой-то) призывается именем королевы Анны I на действительную службу и ему приказывается в (такой-то) день в полдень явиться на место сбора у гауптвахты. Адъютант Гр. Лавдовский».

Такое же точно извещение получили все солдаты, кроме Глушицкого и Корутова, которых генерал исключил из списка. Но, тем не менее, они явились. Всех нас собралось двадцать человек: тут были и прежде служившие, и новые. Из старых не явилось пятеро: трое отказались играть, а двое (Доброумов и Скрябин) уехали с родителями в Ярославль. Начальства ещё не было, и мы от нечего делать играли в снежки да рассуждали кое о чём... Многие из старых стояли за то, чтобы умерить требования Засецкого, «осадить его начальническую манеру», как выражался Глушицкий.

— Он уж очень много воли забрал,— говорил Глушицкий,— ведь король-то, собственно, он, а не Аня Соколова. Что он скажет — то и ладно!.. Не захотел воевать с прилучанами и не стал!..

— Да, почему это у нас королева, господа? — заметил Левашов.— Ну что она смыслит? Лучше бы короля!..

— Не тебя ли? — насмешливо спросил Митя Бунаков.

— Зачем... мало ли...

— Господа, это нельзя!..— воскликнул я.— Мы ей присягали и обязаны быть верными... Я первый не отступлю!

— И я!

— И я!

Раздалось несколько голосов за то, что «слово надо держать честно»...

— Но пусть она больше сама входит в дело и не слушается Засецкого,— вставил Шульц.

— Конечно!

— Это верно!.. Она должна также принимать участие в игре, если хочет быть королевой.

— Что же, ей тоже маршировать и драться? — засмеялся Бунаков.

— Нет, нет! Но...

— Тише! Начальство едет! — крикнул шутливо Левашов. Подошёл генерал и адъютант.

— А вы зачем? — обратился Засецкий к Глушицкому и Корятову. — Вы не солдаты!

— Это почему? — в один голос спросили оба.

— Вы не повинуетесь начальству, королеве...

— Мы были в запасе!..

— Всё равно!

— Нет, не всё равно!..

— Я не принимаю вас!

— Мало ли что!.. Надо спросить королеву!..

— Королеву! Королеву! — закричало несколько голосов.

— Зачем лишаться солдат, чем больше, тем лучше, — сказал Шульц.

— Верно! — поддержали его.

— Без дисциплины нельзя! — убеждал Гриша Лавдовский.

— То запас, а не служба! Мы ещё не играли!..

— Молчать! — вдруг крикнул генерал. — Что это — бунт?.. Марш в ряды!.. Стройся, кто уже служил, а остальные к присяге!..

Споры умолкли. Привели новичков к присяге, и все мы выстроились на снегу; Глушицкий и Корятов также вместе с нами.

Тогда адъютант стал читать королевский декрет, которым вся армия призывалась на действительную службу. Королева высказывала уверенность, что мы по-прежнему с честью будем выполнять свой долг... Затем прибавлялось, что не потому сзывается армия, что имеется в виду война, а с целью поддержать дух воинственности, и потому что

дальнейший отдых мог гибельно отозваться на успехе дела... Декрет был написан замысловато и, как оказалось, составлялся Ржаницыным и его братом, семинаристом, по просьбе Засецкого. В заключение декрета за примерное поведение во время запаса королева производила меня в офицеры, а Алёшу Бунакова в унтер-офицеры.

Когда Лавдовский кончил, мы дружно закричали:

— Ура! Да здравствует королева Анна I!

Глушицкий и Корытов были приняты... Генерал, наверное, настоял бы на своём, но страх потерять своё положение (раздались голоса за то, чтобы просить королеву о назначении генералом Ржаницына) заставил уступить общему требованию.

На другой день армия увеличилась ещё семью лицами, и, по утверждению королевы, она получила такой вид:

Ш т а б

Генерал Засецкий; адъютант — капитан Григорий Лавдовский

1-й полк

(Командир — полковник Ржаницын)

1-я рота

(Ротный — офицер Круглов)

1. Костя Ратов
2. Коля Соколов
3. Паня Лавдовский
4. Гр. Шульц
5. Верещагин
6. Фалин

Музыкант полка — Лейба

2-я рота

(Ротный — офицер Дмитрий Бунаков)

1. Михайлов
2. Светлосанов
3. Рухлов
4. Пуходинский
5. Левашов
6. Соболев

Барабанщик полка — Карпов

2-й полк

(Командир — полковник Образцов)

1-я рота

2-я рота

(За ротного — унтер-офицер Глушицкий Алексей)

(Исполняющий должность ротного — унтер-офицер Алексей Бунаков)

1. Марин
 2. Сперанский
 3. Касаткин
 4. Макаров
 5. Волков
- Музыкант полка Михей

1. Исполатов
 2. Святский
 3. Глушицкий Николай
 4. Куклин
 5. Монастырёв
- Барабанщик — Масленников

Писарь при штабе — Кротов (горбун)

II

СЕЧЬ. НАШИ ПОСТРОЙКИ. ВРАЖДЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕЧИ

У нас в армии всегда было больше порядка, чем у казаков. Устроив Сечь, казаки, однако, только на первых порах соблюдали некоторый порядок. Прежде всего, и постоянных-то казаков почти не было, за исключением Тёрки, Петра из колбасной и пономаревича... Их число то увеличивалось, то уменьшалось. Сегодня какой-нибудь Васька — казак, а завтра он и знать не хочет Сечь и атамана. Пройдёт несколько дней, Васька опять является... Надо казаков для войны, например, — Тёрка кличет ребят с улицы, набирает кого можно: «Идите воевать; давайте драться с барчонками!» Кто хочет — идёт; а желающих всегда много... Нашей дисциплины, за которую так ревностно стоял Засецкий, «уличане» не вынесли бы, она

и наших подчас тяготила, а тем совсем была не по нутру... Тёрка считался «ватаманом», его кулака боялись, но почитать его никто не думал. Его ругали в лицо, спорили, даже дрались с ним и покорялись только после потасовки, когда Стёпка побеждал... Атаману пречувствительно доставалось иногда от казаков... И Степан находил такое положение дел вполне естественным. «Мы вольные казаки, а не солдаты», — говорил он, наслушавшись рассказов пономаревича.

Сечь расстроилась раньше армии. Осенью колбасника отправили в Москву, к дяде, а писарь Заправляйко, отец которого был переведён из нашего города в дальний уезд, поступил в тамошнее училище. Многие мальчишки из Стёпкиной Сечи попали в ученье и разбрелись по разным концам города... Остался у Тёрки один приятель — Фёдор из сливочной. Когда у нас возобновилась армия, и Стёпка снова открыл Сечь, сделав есаулом Фёдора, и Чёрного назвал писарем... Казаки набирались по-прежнему.

— Что же, будем воевать? — спросил Степан, встретивши как-то меня на улице.

— Да, у нас теперь большое войско, — ответил я гордо.

— И мы не уступим, — заявил Тёрка.

— Вы? Да где у тебя казаки?..

— У меня-то? Сколь хочешь!.. Стоит кликнуть...

— Сброд разный! — с пренебрежением сказал я.

— Почище ваших-то!.. Каждый охулку на руку не положит. Пятерых ваших возьмёт, вот что!..

— У нас законы, у нас порядок... Королева, штаб...

— Нам этого не надоть!.. Мы вольница казацкая и насильно не тащим.

— У нас крепости... новые... из снегу... и стены, и всё как следует... Мы водой облили крепко, лёд...

— А мы разрушим!..

— Ну, нет!

— А вот гляди!.. Ничего не оставим!

В этот же день я встретил Чёрного, который учился в реальном училище.

— Карпуша,— сказал я,— ужели ты не перейдёшь к нам?

— Зачем? В денщики к вашему генералу или калоши подавать вашей девчонке?

Я заступился за королеву.

— А не девчонка, что ли?.. Девчонка и командует вами!.. Вы её горничные!..

— Это с чего?

— А не ты с Бунаковым в театре-то помогал ей одеться и в карету усаживал?

— Ну, так что же... это...

— Молчи уж лучше!.. Бабье войско!..

— А ты не был разве таким же?.. Не присягал королеве?.. Тоже колено преклонял!..

Это укололо Чёрного.

— За то я и бросил вас! — произнёс он, краснея от досады.— Ушёл в Сечь!.. И тебе советую сделать то же!..

— Ну уж нет! — возразил я.— Я не пойду к вам... у вас сброд... Да и вы не Сечь, не казаки!..

— А кто же?

— Вы... разбойники... у вас притон, а не Сечь!..

— Ах ты... бабий воин!

— А ты... разбойник!..

— Молчи... денщик Засецкого!..

— Как ты смеешь?.. Я ротный!.. А ты... изменник!..

— Вот я тебя!..

Чёрный схватил ком снега и бросил в меня. Я ответил тем же... Неизвестно, чем бы кончилась наша схватка, если бы случайно не показался в конце улицы Гриша Лавдовский. Увидев его, Чёрный бросился бежать. Скрываясь в калитке, он крикнул всё же:

— Бабьи воины! Идите вязать чулки для королевы!..

Я рассказал всё Лавдовскому.

— Ну, брось их! — промолвил Гриша.— Мы вот их побьём скоро!..

Наши постройки, на которые было положено немало труда, вышли действительно затейливы... Из снега, обливая его водой, мы устроили крепость в два этажа, сделали высокую гору с башенкой и острог, чтобы сажать виновных и врагов... и всё это обвели крепким валом. Угроза Стёпки заставила задуматься всех нас.

— Но мы ещё не воюем с ними! — сказал Шульц.— Они не имеют права... по правилам...

— Какое у них правило! — перебил Паня.— Они ничего не признают...

Штаб решил послать к Тёрке меня и Глушицкого, чтобы напомнить о том, что в мирное время нельзя нападать и тайком разрушать постройки... Мы и объявили об этом Степану, у которого сидел Чёрный...

— Все государства держатся этого обычая, — сказал я.

— А мы не государство, — сказал Чёрный, не давши ответить Стёпке.— Вы держава, армия, у вас королева, ну, вы и соблюдайте... А мы ничего знать не хотим... Нападаем, когда хочется, и рушим... Вот и разломаем у вас всё...

— Стало быть, вы не казаки, а шайка разбойников!

— Как угодно зовите... Да откуда вы это только взяли? Разве запорожцы не делали так?

— Что же сказать генералу? — спросил я.

— Скажите ему и королеве, если хотите, что мы никаких уговоров не признаём... Вздумаем и всё у вас разнесём!.. Захотим — и королеву вашу поколотим... Слыхали? Так и скажите своим!..

Наши положения были неодинаковы: казаки не имели никаких построек, терять и беречь им было нечего, а нам предстояла большая забота — сохранить постройки... Летом легко было караулить: и тепло и досужно, а теперь холодно и (во время классов) не было времени... А ночью? Вечером?..

Степан, между тем, не хвастал: он действительно разрушил нашу гауптвахту из снега. Крепость была пощажена... Генерал получил по почте письмо, писанное рукою Чёрного: «Вы видите, что мы сильны и можем портить вам и мешать правильной вашей игре... Если хотите, чтобы ваши постройки оставались целыми, платите нам дань — по четвертаку в неделю, это нам на лакомства... Вас теперь много, можете сложиться, а то и королева в силах платить, ведь её армия и ей же выгода... Ждём до завтра. Или пришлите дань, или всё будет разрушено. Мало того, и самой королеве будет плохо. Мы запорожцы и ничего не боимся. Мы громили и турок».

Делался прямой вызов... Оставить его без внимания было нельзя: казаки могли исполнить угрозу, и наши многодневные труды пропали бы ни за что.

Генерал собрал военный совет, пригласив полковых и ротных командиров и по одному солдату от роты. Выбор солдат предоставлялся ротным.

III

ВОЕННЫЙ СОВЕТ

Мы собрались в квартире Засецкого, который жил в одном доме с королевой. Я выбрал из своей роты Паню Лавдовского, от 2-й роты явился по выбору Бунакова Рухлов, Глушицкий Алексей взял Волкова, а 2-я рота 2-го полка прислала Куклина. Следовательно, всех нас собралось двенадцать человек, не считая писаря.

— Господа! — начал Засецкий, когда все мы уселись по местам и горничная подала нам по стакану чая.— Господа, я созвал вас для того, чтобы решить, как поступить относительно казаков... Конечно, штаб мог бы решить сам, пользуясь властью и одобрением королевы, но ни её величество,

ни штаб не хочет, чтобы потом роптала армия и обвиняла их в ошибке... Дело очень важно и касается всех.

«Кто это сочинил ему речь?» — шепнул мне Глушицкий, сидевший рядом со мною.

— Да, всех,— повторил генерал, отхлебывая чаю.— Ум хорошо, а два лучше того... И вот давайте решим всё сообща, а потом представим на рассмотрение королевы.

(«Ну да, то есть его же самого, мы это знаем»,— шепнул мне снова Глушицкий.)

С минуту царило полное молчание... И вдруг поднялся крик — заговорили чуть ли не все зараз...

Засецкий был очень предусмотрителен и хорошо наставлен (как выяснилось после — Ржаницыным). Он запасся звонком — и теперь, когда все закричали, он зазвонил.

— Господа, к порядку!.. Прошу вас!..

Мало-помалу все смолкли.

— Прошу вас говорить по одному... Я за войну, господа... По-моему, нельзя прощать казакам... Их не так много, чтобы бояться... Мы их сломим... Я уверен в храбрости солдат и в мудрости полководцев... Мы объявим войну и покорим Сечь. Её надо разрушить, её надо покорить... Иначе нельзя продолжать нам своё дело... Ваше мнение, полковые командиры? — обратился он к Ржаницыну и Образцову.

Оба они высказались безусловно за войну... Когда очередь дошла до меня, я задал вопрос:

— Будет ли польза от войны?

— То есть как это? — удивились генерал с адъютантом.

Я разъяснил свою мысль.

— Мы побьём казаков (я не сомневался в этом), но ведь, побивши, мы не свяжем их, не спрячем... Кто помешает им опять рушить всё?..

— А слово, а слово? — крикнул Образцов.

— Чёрный мне сказал прямо, что они никаких договоров не признают...

— Тогда они не казаки, а разбойничья шайка! — крикнул Волков.

- Пусть!.. Они не пугаются этого названия!
- Но тогда нельзя с ними играть! — произнёс Рухлов.—
Тогда...
- Но что тогда? Вот вопрос: как заставить Стёпку с казаками не мешать нам, не портить наших построек?
- Будемте по очереди караулить,— предложил Паня.
- А ночью?
- А классы?
- Это невозможно!
- Но что же тогда? — задал вопрос Засецкий.
- Привлечь их на свою сторону,— предложил я.
- Как? Согласиться на дань? — вскочил Засецкий.—
Вы позорите армию, ротный командир!.. Стыдно!..
- Да, да!..
- Ни за что!
- Дани не давать!
- Бить их!
- Война!..
- Опять произошёл беспорядок...
- Но я не про дань! — крикнул я что было силы.
- А про что же?
- Просто предложить им поступить на службу к королеве, в виде отдельного войска...
- Так они и пойдут!
- На жалованье! — сказал я.
- Но это дань! — возразил Гриша Лавдовский.
- Нет, не дань!..
- Всё равно!.. Лучше воевать... Они оскорбили королеву, их надо проучить,— стоял на своём Засецкий.
- Без пользы! — сказал я.
- Ну, это мы увидим... Я их научу сдерживать слово! — сказал гордо Ржаницын.
- Вы?..
- Ну да... мой полк и я...
- И мой также! — подтвердил Образцов.

— Итак, война?
— Война!
— Кто за войну — встаньте!
Встали все, кроме меня, Глушицкого и Пани.
— Значит, война!..
— Но как ещё решит королева, — заметил Глушицкий.
— Мы это сейчас узнаем, — сказал Засецкий. — Я схожу к королеве, расскажу всё ей и принесу ответ...
— Позвольте, — вмешался Глушицкий, — нельзя ли лучше просить её сюда?..
(«Он её там настроит по-своему», — шепнул он мне.)
— Это неудобно, — заметил Засецкий, — неприлично...
— Почему? Мы армия, она наша королева...
— Сюда! Сюда!..
— Сходить за ней!.. Просить её!
— Да что она смыслит, господа? — тихо, но довольно внятно произнёс Образцов, наклоняясь к нам. — Девочка... её ли это дело?
— Но ведь она королева? — сказал я.
— Тогда лучше вместо неё короля избрать! — смешался Глушицкий.
— Разумеется! — подхватил Ржаницын. — Такого, чтобы мог вести войско...
— Господа, но вы затеваете измену! — горячо вмешался почему-то Паня. — Это дело всей армии...
Опять поднялся шум... Генерал вновь, не без усилия, призвал всех к порядку... И когда всё утихло, было постановлено: сейчас же послать к королеве двух лиц — и получить её письменное решение.
— Кто же пойдёт?..
— Мы — штаб! — сказал генерал.
— Нет, почему же вы только? По жребию!
— По жребию лучше!
— Но я должен... Я генерал, и я должен сам доложить королеве!

— Хорошо, но другой по жребию!

— Вот это так!..

На том и решили.

Жребий пал на Образцова.

— Ну, дело их в шляпе! — махнул рукой Глушицкий.

Да, он был прав: через четверть часа вернулись докладчики с листком, на котором стояло: «За войну немедленно — Анна I».

— Теперь рассуждать напрасно, — сказал довольным тоном генерал. — Воля королевы — закон.

— Когда того же хочет и штаб, — заметил громко Глушицкий.

— Вы забываетесь, — грозно произнёс генерал, — я исполняю волю королевы...

— А прилучане? — усмехнулся Алёша.

— Королева согласилась...

— Знаем мы это...

— Послушайте, я вас предаю суду!.. — загорячился Засецкий.

— Некогда...

Глушицкий взялся за фуражку.

— Ну, это мы увидим!.. — пригрозил генерал. — Господа, итак, война!.. Будьте завтра утром у крепости... Сейчас штаб и полковые командиры выработают план войны, и завтра же мы нападём на казаков... Господин писарь, останьтесь здесь, чтобы написать декрет о войне!..

— А всё-таки мы казаков не смирим! — сказал я Рухлову, уходя.

— Ну, а зато вздуем их! И то хорошо... Что же и за игра в солдаты без войны?..

В этот же день вся армия узнала, что завтра начнётся война. К Стёпке послали писаря объявить войну. Весь вечер и ночь крепость караулили Ржаницын и Образцов, забравшись в баню... Но Стёпку предупредили, и никто из казаков не явился.

БИТВА НА СНЕЖНОМ ПОЛЕ

Выйдут ли биться казаки? Сколько их? Кто победит?

Эти вопросы занимали всю армию. Мне казалось, что Стёпка откажется от войны (потому что мы действительно были сильны), но будет по-прежнему нападать тайком, мешая нашим играм... Но я ошибся: ещё с раннего утра на улице начали образовываться кучки ребят; эти кучки то увеличивались, то уменьшались, переходили с места на место, исчезали куда-то совсем; два раза Стёпка стрелой пронёсся по улице, пробежал Чёрный, швырнув комом снега в проходившего Кротова; около десяти часов опять забежали уличане, скрываясь во двор Стёпки... Армия также собралась на своё место... Всех раньше прибежал Коля Соколов, которому, видимо, очень хотелось увидеть войну и в то же время было немножко страшно. Слабенький, худенький — он был совсем беззащитен, и я бы ни за что не взял его в свою роту, если бы того не захотела сама королева...

Нас собралось уже около четырнадцати человек, когда вдруг на Снежном Поле, занимавшем целый соседний большой огород, показалась многочисленная толпа казаков. Впереди шёл Стёпка, в нагольном тулупе и в длинных серых валенцах... Толпа шла прямо на нас.

— Казаки, казаки! — крикнул Коля Соколов тревожно.

— И прямо сюда!.. — прибавил Шульц.

Да, толпа ровно, но твёрдо шла на нас...

— Что же нам делать? — спросил меня Коля.

Нас было четырнадцать человек, начать бой, положим, можно, но, во-первых, рискованно, во-вторых, не было ни штаба, ни одного полкового командира, даже из ротных находился только я один; наконец, в-третьих, я не имел права вступать в бой без приказа высшего начальства. И в то же время нельзя было бездействовать, ввиду приближения врага...

Пробило уже одиннадцать часов, а по приказу, данному вчера, к десяти вся армия должна была собраться у крепости. Пока я раздумывал, что делать, прибыл Глушицкий, заменявший командира 1-й роты 2-го полка. Но высшее начальство и полковники ещё не являлись. А казаки уже подходили к нашему валу... Среди четырнадцати человек — были солдаты обоих полков и разных рот... Моих всего было четыре: Соколов, Шульц, Фалин и Лейба, музыкант.

Я собрал всех в круг и предложил вопрос на общее решение... Я сам подал голос за то, чтобы отстаивать крепость и защищаться, но не нападать... Все согласились, что оборонительное положение — единственный выход; за это мы отвечать не можем... На том порешили, и я немедленно отправил Колю Соколова к Засецкому. Лейба спрятал свою свистульку в карман брюк и приготовился тоже к борьбе. Этот еврейчик, сын часового мастера, отлично свистал и наигрывал марши, но как боец стоил не многим больше Соколова. Но, боясь, что нас «помнут», я постарался удалить именно Соколова...

Казаки вдруг остановились...

— Эй, что же вы, выходите!.. — закричал Стёпка.

Мы хранили молчание.

— Аль не слышите? — повторил Тёрка. — Чего молчите-то? Выходите же, поборемся!..

Я шёпотом отдал приказ Шульцу, и он, взобравшись на вал, громко ответил атаману:

— Мы не будем нападать на вас... Нападайте, если вам не дорога жизнь!..

— Ах вы, юбочники! — закричал Степан. — Ещё пугать надумали... Да вот мы вас... Ребята, бери!..

Казаки с гиканьем и криком полезли на вал.

— Вперёд! — скомандовал я и бросился тоже на вал. Все солдаты — за мною...

Казаки храбро лезли на снежный вал, рубили его палками и кидали в нас снегом... Наше положение было выгоднее;

мы осыпали нападающих снегом, громили бомбами и пулями (ледяными сосульками и снежными шарами, из которых многие были ранее облиты водою и теперь представляли собою ледяные мячики); казакам доставалось сильно, особенно от пуль, которые резали больно лицо и руки... Стараясь взобраться на вал, казаки должны были хвататься за снег и лёд. Их руки покраснели; сами они были залеплены снегом... Как кубари, скатывались осаждающие с вала, но быстро вскакивали на ноги и лезли снова...

Прибежал Коля Соколов и сообщил, что генерала нет дома, что он ушёл уже давно куда-то... Явились ещё два солдата, борьба не прекращалась. Но, несмотря на выгодное положение, мы чувствовали, что долго не выдержим. Казаки работали дружно палками и производили сильные бреши в вале... Степан бился отчаянно. Он точно не чувствовал ни холода, ни боли от пуль — и лез наверх... Увидав Соколова, он крикнул изо всей силы:

— Бери вот этого цыганёнка, это брат ихней королевы... Знатный выкуп получим... Федька, валяй!..

Я сейчас же оттолкнул Колю назад и велел ему не высываться. В то же время все мы сплотились, чтобы дружным напором столкнуть Стёпку, Фёдора и ещё двух казаков, уже почти совсем взобравшихся на вал...

— Дружнее! — крикнул я. — Если отстоим крепость, всем по кресту, обещаю именем королевы!

— Ура-а!... — закричали солдаты в ответ.

В этот миг Лейба как-то поскользнулся и, не удержавшись, полетел с вала, к казакам...

— Бери его, бери! — заорали те и кинулись на Лейбу.

Тут я ничего уже не мог поделать... Все солдаты бросились с вала целою массой... Мне волей-неволей пришлось кинуться за ними... Конечно, ни Степан, ни Фёдор не могли удержаться и, увлечённые массой наших, полетели вниз...

Кубарь — детская игрушка волчок, имевшая форму шара с ножкой.

Теперь всё смешалось... Началась общая свалка, в которой трудно было что-нибудь разобрать... Первым моим делом, когда я сам сбежал с вала, было оторвать Шульца от Фалина: Гриша принял своего за казака и тузил его, сидя на нём. Занесённый снегом Фалин только бил ногами, но не мог сбросить с себя сильного товарища...

— Тьфу ты!— воскликнул Шулец, понявши ошибку, и бросился на бежавшего казака...

Фалин поднялся — и снова упал. Ему подставил ногу Фёдор, сейчас же и насевший на него... Я хотел броситься к нему на помощь, как вдруг раздался отчаянный крик Соколова. Его схватили два казака и уже связывали ему руки...

— Тащи его, тащи в нашу тюрьму! — кричал Тёрка, размахивавший руками и косивший налево и направо солдат, желавших схватить его.

Я бросился на помощь к Соколову... Откинув в сторону одного казака, я вступил в борьбу с другим, довольно сильным. Признаюсь, с ним я, пожалуй бы, и не справился, если бы не Шулец с Глушицким... Соколов тем мигом поднялся на ноги и бросился наутёк... Казаки снова полетели за ним...

— Господа, — крикнул я, — что бы ни было, а Соколова в плен не давать!.. За мной!..

В пылу битвы и желая во что бы то ни стало спасти брата королевы от плена и побоев, я забыл совсем, что крепость наша осталась беззащитной... Я спохватился уже тогда, когда крикнул кто-то из солдат: «Глядите, казаки занимают крепость!..» Я обернулся. Федька, Стёпка и четверо казаков были уже на валу и помогали своим, которые все устремились также на вал... Нельзя было терять ни одной минуты. Хотя Коля — брат королевы, но рядовой, а тут — крепость, на ней знамя армии. Приказав всё же одному солдату преследовать двух казаков, бежавших за Колей, я с остальными бросился на защиту крепости... Взобраться на вал нам было

бы ещё труднее, потому что казаки обладали и большею физической силой, и превосходили количеством. Но в ту самую минуту, когда мы подбежали к валу, — а большая часть казаков была уже на нём, — вдруг раздался где-то рожок Михея и барабан Масленникова. Казаки, стоявшие наверху вала, оглянулись, и один из них закричал:

— Наши, наши бегут!..

Мои солдаты совсем было растерялись и хотели броситься наутёк, но Шульц и Глушицкий накинулись на них с кулаками и вернули назад... Между тем крик и бой барабана приближались...

— Да тут и они, армия! — закричал с вала Федька. — Ребята, наших гонят, держись крепче! — скомандовал он.

— Солдаты, к нам идёт помощь! — крикнул я. — Смелей на приступ!.. За честь армии и королевы, вперёд!..

— Ур-а-а!..

И мы все плотной массой бросились на приступ своей собственной крепости...

Теперь надо объяснить, откуда взялись наши и казаки. Последние задумали воспользоваться тем планом, какой был армией составлен для войны с слободчанами... Всем делом руководил Карпуша Чёрный. Он разделил казаков на две партии: одна с атаманом явилась на огород, чтобы завязать с нами бой, а другая, поменьше, с Чёрным во главе, пошла в обход, чтобы в разгар битвы напасть на нас с тылу.

Наш штаб, оба полковника и около десяти человек солдат, отправляясь на место сбора, случайно, от одного уличного мальчишки, узнали об отряде Чёрного. Они погнались за ним, настигли на заднем огороде — и вступили в бой. Обе стороны бились храбро, Чёрный бросался на всех, как кошка, но Ржаницын ловко опрокинул его и «по-семинарски» надавал ему «киселя»... Силы наших были больше, казаки не выдержали и побежали... Наши, не зная о том, что крепость уже взята случайно Стёпкой, гнали врагов в крепость... Таким образом, победивши,

армейцы гнали казаков для соединения их со своими. Эти последние получали теперь сильное подкрепление для защиты занятой позиции. Пришлось брать крепость с двух сторон. Мы осаждали её со стороны Снежного Поля, где вал вследствие того, что шёл по берегу канавы, был высок, а Засецкий с остальными пошёл на приступ сзади, где вал чуть-чуть возвышался. Казаки, разделившись на две партии, отчаянно отражали нападения... Но взобраться на вал солдатам Засецкого было легко. И они скоро ворвались в крепость. Чёрный, уже взятый в плен во время боя, как-то вырвался и снова бросился в драку... Когда часть наших сзади ворвалась в крепость, Тёрка кинулся на них, оставив для борьбы с нами очень мало народа... Это помогло нам, и мы, отражая врагов, скоро также вскарабкались на вал. Первым вскочил Шульц, за ним я, Глушицкий и кто-то ещё. Завязалась беспорядочная свалка, Фалин и Лейба опять слетели вниз, за ними слетели и двое из казаков; после минутного натиска мы взяли верх, почти все наши собрались — и мы, окружив казаков кольцом, начали их сжимать... Стёпка два раза прорывал кольцо, свалил генерала, попытался прорваться в третий раз, но сильные руки Ржаницына связали его. В ту же минуту Образцов управился с Карпушей. Оставался один Фёдор, но я с Глушицким связали и его. Бой ещё не кончился, когда казацкие начальники были уже заключены в крепостной острог. Это — высокий чан из снега; внутренние стенки его были облиты водой и заледенели так, что не было никакой возможности выскочить из него без наружной помощи.

Лишённые главарей, уличане потерялись и уже слабо отбивались от нас...

— Сдаётесь ли?.. — спросил их Ржаницын.

Они ответили бранью и ещё попробовали биться. Но когда Ржаницын, взявший команду в свои руки, снова задал этот же вопрос, многие из казаков уже изъявили покорность. Не прошло пяти минут, как сдались и все.

— А ведь там всё ещё борются, — сказал мне Фалин, указывая на поле.

В самом деле, там продолжали бой два казака и трое наших, в числе которых был и Соколов. Когда одолевали казаки, несчастного Колю тащили куда-то вперёд; когда же брали верх наши — его волокли в крепость.

Я послал четырёх солдат, и те живо решили дело. Один из казаков убежал, а другого привели в плен. Соколов представлял из себя жалкую, смешную фигуру и утирал слёзы, которые напрасно старался скрыть от нас...

V

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРА

Начались переговоры с главарями. Наше начальство, то есть штаб и полковые командиры, отправились в баню и велели привести туда атамана...

Я взял шестерых более сильных солдат и отправился за Тёркой. К острогу с наружной стороны была прилажена лестница из снега же, в виде уступов; на верхнем из них сидел часовой, наблюдавший за действиями пленных... При помощи Чёрного и Фёдора Степан вылез из острога, мы приняли его и повели к начальству.

— Признаёт ли атаман себя побеждённым? — задал вопрос Ржаницын, которому поручил вести переговоры Засецкий, в этот день совсем как-то ступшевавшийся перед Ржаницыным.

— Ну что ж, взяли верх, так и взяли!.. — пожал плечами атаман. — Когда кому... может быть, завтра...

— Я спрашиваю, признаёт ли атаман...

— Ну, ну, ладно, признаю! — перебил Тёрка. — Чего ещё?

— Желает ли он вести переговоры о мире?

— Чего тут говорить, победили и будет... Ведь...

— Я сейчас сообщу условия мира,— перебил, в свою очередь, Ржаницын.

В эту минуту от крепости донёсся какой-то крик...

Я послал солдата узнать, в чём дело. Оказалось, что двое казаков вступили в борьбу с солдатом, к ним присоединились другие, и прекратившийся бой чуть не возобновился снова... Пришлось усмирять, а одного из казаков, зачинщиков, посадили в острог...

Переговоры продолжались.

— Казаки признают себя побеждёнными,— диктовал условия Ржаницын.— Сечь навсегда уничтожается... Вы перестаёте быть казаками...

— Как это так? — воскликнул Тёрка.

— А так... Вы делаетесь конным корпусом, кавалерией, равной армии, признаёте королеву нашу и своей королевой...

— Ни за что!.. Стану я слушаться вашего генерала, подставляй карман!

— Этого не нужно. Ты остаёшься начальником всей кавалерии, получаешь сам чин генерала, королева дарит тебе эполеты, саблю, кивер, и ты не знаешь никакого начальства, кроме неё одной...

— Я знать не хочу вашей королевы... Девчонка...

— Не смей так отзываться об особе королевы,— остановил Ржаницын,— иначе я прикажу тебя сейчас же предать суду...

— Ой ли?

— И тебя накажут жестоко... Ты не забывай, что ты в наших руках!..

— Ах вы...

Он было рванулся, но солдаты крепко схватили его за руки.

— Напрасно ты так делаешь,— спокойно произнёс Ржаницын, входя в свою роль окончательно.— Армия сильна... Ты разбит, и если я предлагаю такие условия мира, то

это очень выгодно тебе... Я ещё не кончил: ты будешь получать жалованье — 20 копеек в неделю.

— Это дань?

— Нет, не дань! Дани победители не платят... Это королева будет платить тебе жалованье как своему генералу. Ты признаёшь её, её слушаешься и запрещаешь своим казакам...

— Да как им запретишь, нешто они мои все? Хотят играют, хотят нет...

— Ты наберёшь известное число казаков, остальные будут считаться разбойниками, и мы их сумеем унять... Согласен?

— А если нет? Что тогда?

— Тогда? Тогда армия считает вас бунтовщиками... Вы побеждены, присоединены, следовательно, вы подданные королевы и сражаться с вами, как с вольными казаками, мы больше не будем... Мы станем ловить вас и расправляться по-своему...

— И мы так же с вами!

— Можете... но ведь у тебя мелюзга, и то она есть, то её нет... а нас около сорока человек. Меня и Образцова ты знаешь? Я тебя ведь в дугу согну, в щепки искрошу... Где бы ты ни попался — я буду тебя бить и расправляться по-свойски... Везёшь воду — я её вылью, несёшь бельё матери — я всё раскидаю...

— Нет, ты не смеешь... это уже не игра...

— Смею!.. Игра игрой... Ведь я до сих пор тебя не трогал?

— Ну, нет!

— Мы играли, вели войну... Тебя победили, и ты должен покориться...

— Мало ли что... Я так не хочу... Я не хочу подчиняться королеве... Баба — начальник... Будь ты королём! Тогда я соглашусь!

— Ты говоришь глупости,— заметил Ржаницын, взглянув мельком на Образцова...

— А ну, так я не хочу... Погоди... вот как сделаем: я не буду вас трогать... мы не будем мешать вашим играм... но мы не знаем и знать не хотим королевы... А войну поведёте — мы за вас!.. За то и вы — за нас, когда нам нужно... Идёт?

Ржаницын подумал и произнёс:

— Это надо обсудить!.. Уведите военнопленного,— приказал мне Ржаницын.— Мы это сейчас решим!

О чём рассуждали штабные и полковники, я не знаю, но решили они скоро. Прибежал Гриша и велел вести обратно Стёпку.

— Ну вот, атаман,— промолвил Ржаницын, когда мы вновь вошли с Тёркой в баню,— мы уступим тебе, а ты нам... Ладно?

— Что такое?

— Будь по-твоему, но только так: ты обязан воевать за нас со всеми нашими врагами, а мы тебе помогать не обязаны, если не захотим, если нам это невыгодно, неудобно... Ладно, что ли?

— Отчего ж это вы-то не обязаны? — спросил Тёрка.

— Да ведь мы победили... Не по уговору добровольному, а как победители берём с тебя слово стоять за нас.

— Ишь ты!..— усмехнулся Стёпка. Ну, а эполеты мне будут аль нет?

— Ничего не будет... То ведь тогда...

— Ладно, ладно, и не надо! Не хочу идти под начало к вашей королеве!

— Так согласен?

— Ладно, согласен.

— Привести остальных!

Привели Чёрного и Фёдора и объявили им о заключённом мире.

— Согласны?

— Мне что — как он! — указал Фёдор рукою на Стёпку.

— А ты, Чёрный?

Тот пожал плечами и произнёс с досадой:

— И отчего тебе, Стёпка, не идти в армию? Ты и сам баба!

И затем добавил:

— Какое мне дело — не я атаман... Я только больше у него не служу, а уж что сделаю, это мне знать.

— Ты больше не казак? — спросил Ржаницын у Чёрного.

— Нет!..

— Отпустить его!.. Ну, атаман, мы тебя, твоего есаула и всех казаков отпускаем на свободу... Завтра ты зайди сюда, здесь мы соберёмся и подпишем мир...

— Хорошо!

Казачьи отряды отправились по домам. Армия также была распущена, причём ей было приказано всей собраться на другой день... Мне же велели представить к сегодняшнему вечеру донесение о бое, в который пришлось вступить неволью.

VI

ПОСЛЕ БИТВЫ

Я написал донесение на целом листе и понёс его к Засецкому. Он отказался принять его для передачи королеве.

— Почему? — удивился я. — Ведь мне же велено было написать?

— Кто велел?

— Ржаницын!

— Ему и неси!

— Да ведь генерал не он?

— Нет, верно, он, если приказывал, заключал мир...

— Да ты тут же был... Ведь ты ему позволил...

— Нисколько!.. Он самовольно взял на себя команду во время битвы, потому я...

— Постой. Да ты ведь упал, а потом отошёл в сторону и стал вытряхивать снег из сапога... Ну, он и взял команду...

— Он самовольно взял... Он заключил мир... А кто ему это позволил? Разве он спросил королеву?

— Но ей покажут решение мира? Она подпишет!

— Это её дело... Я не понесу для подписи решения... Я вот сейчас к ней пойду и расскажу всё...

Он взял фуражку с окна и хотел было идти, но потом остановился и обратился ко мне:

— Ты за кого?

— Как это за кого? — спросил я, с недоумением глядя на Засецкого.

— Ты за королеву или против неё?

— Что за вопрос! Разумеется, за неё!

— И за меня?

— Я тебя не понимаю... Ты генерал...

— Ах, неужели ты ничего не понимаешь?.. Я сделал большую ошибку, что пригласил в игру этих семинаристов...

— Напротив, кажется,— возразил я,— они оказали большую услугу: Ржаницын решил всё дело, его и Стёпка боится... Если бы не он с Образцовым, Стёпка наверное бы прошлою ночью разрушил нашу крепость...

— Ну, это ещё неизвестно... А впрочем, если тебе люб Ржаницын, дружись с ним, стой за него... А только я думал, что ты за меня, и хотел просить королеву сделать тебя полковником на место Ржаницына...

— На место его?.. А он кем же будет? — спросил я.

— Он? В дьячки пойдёт,— злобно засмеялся Засецкий.— Послушай,— опять заговорил он,— Ржаницын хочет сделаться генералом вместо меня, а то и королём, это ясно... Да чего: сейчас у меня был Гриша Лавдовский и сообщил, что после битвы Образцов уговаривал весь свой полк

требовать производства Ржаницына в генералы... Вот завтра увидишь!..

— Но королева не согласится!

— Могут убедить... А то и не надо... Выберут королём того же Ржаницына, а Образцов будет генералом!..

— Ну, нет!.. Я за королеву... Я ей присягал и не изменю слову!

— Это верно? Ни за что не перейдёшь к ним?

— За королеву!

— Смотри же... Я сейчас буду у неё и всё расскажу... Давай донесение... А потом вот что... завтра, ровно в 9 часов утра, будь у меня... Нужно...

— Ладно...

— Но никому ни слова... Слышишь, никому ни слова, о чём мы теперь говорили... Увидишь, что тебе же будет лучше!..

Вернувшись домой, я застал у себя Глушицкого и Шульца.

— Откуда? От Засецкого? — спросили они.

— Да.

— Отдал своё донесение?

— Отдал...

— Что он, сердится, поди?

— Не знаю, не заметил,— хитрил я...— Да отчего ему сердиться?

— Ну, как же... Разве ты не знаешь?..

— Не знаю... А что?

— Да ведь он скоро слетит,— сказал Глушицкий.— Ну какой он генерал... ни силы, ни умения, только и знает, что нос задирать... Разве ему чета Ржаницын? Как ты скажешь?

— Ну, конечно, тот сильнее,— согласился я.

— Да что сильнее!.. А кто писал декрет?.. Кто всему учит нашего генерала?.. Нет, Ржаницын — вот генерал... Это так!.. Разве не он одержал нынче победу-то?

— Он много помог... Но ведь за это его и наградят...

— Кто?

— Королева!

— Да как его наградят? Крест дадут? Так ведь и Засецкий его получит... А вот пусть-ка королева сделает его генералом!

— А Засецкий как же?

— А его в полковые командиры!.. — засмеялся Глушицкий.

— Это несправедливо! — возразил я.— За что же понижать?..

— А это будет! — сказал уверенно Шульц.— Армия вся недовольна Засецким.

— Да королева не согласится!..

— Ей объяснят... Я всё сам ей объясню... Да как она может не согласиться, если ничего не знает и не видит... Разве она была при битве?.. Знаешь что, по правде сказать: нам нужно бы выбрать было тогда короля, а не королеву!

— Конечно, удобнее бы,— согласился и я.— Чего же ты не говорил?

— Всё же Засецкий!.. Он нарочно указал на Соколову, потому что знал, что при ней будет королём-то на самом деле он!

— Да неужели ты не за то, чтобы Ржаницын был генералом? — удивился Глушицкий.

— Как королева,— ответил я уклончиво.— Я ей дал слово и не могу изменить...

«Однако что-то затевается,— думал я, оставшись один.— Пожалуй, Колечке не усидеть, все за Ржаницына... Что же: тот и лучше!.. Если королева согласится, утвердит, я присоединюсь... Но против её воли я не пойду!..»

С таким решением я отправился на другой день утром к Засецкому. Там был уже писарь, Гриша Лавдовский и ещё трое солдат: Пухидинский, Волков и Святский.

— Поди-ка сюда,— позвал меня Засецкий в следующую комнату.— На, посмотри,— показал он мне на одно место бумаги, которую держал в руках.

Я прочел следующее: «Полковник Ржаницын за самовольные и за то, что заключил мир без ведома королевы, — предается суду».

— Что?.. А теперь вот это прочти...

И он указал мне на другое место бумаги; там стояло: «Ротный Круглов за храбрость, за спасение брата королевы и за умение распоряжаться — назначается полковым командиром и награждается звездой».

— Доволен? — спросил генерал.

— Это что же, указ королевы? — спросил я.

— Да... Видишь?

Он указал на подпись: «Анна I».

— Доволен? — снова спросил Засецкий.

Я почувствовал себя неловко... Награди так меня королева сама, зная дело, я был бы очень доволен. Но теперь мне казалось, что эта награда была не наградой за битву, а за то, что я стоял за королеву и обещаюсь стоять за генерала... Не будь Ржаницына — едва ли бы Засецкий допустил меня так повысить.

— Разве ты не доволен? — удивился Засецкий, видя мое смущение.

— Нет, не то... но... за что же Ржаницына суду?

— За то, что он самовольно взял на себя команду!..

— Но он же храбро дрался! Тогда и меня судить надо...

— Тебя? За что?

— Я погнался за казаками и забыл, что крепость осталась без защиты.

— Да ведь ты спасал брата королевы?

— Крепость важнее рядового...

— Брат королевы не простой рядовой... ты забываешь!..

— Ну а Глушицкий и Шульц получили награды? — спросил я.

— Они? За что?

— Как? Я в донесении указал — и даже просил о награде их!

— Это не уйдёт... Они очень дерзки и их не надо баловать... Впрочем, если хочешь, их можно похвалить в указе! Я вставляю...

— Ты?

— Ну да!.. Королева мне доверяет...

«А ведь Шульц прав...», — подумал я невольно.

— Да бросим это... А я вот что хочу сказать тебе. Не все за Ржаницына, и если будет сегодня спор, выбор... так ты за меня, да? Дай слово!.. Пухидинский, Волков и Святский за меня...

— Только? — воскликнул я.

— Нет, и ещё... Да ты уговори свою роту... Бунаков уже обещал... Согласен?..

Я очутился в затруднительном положении.

— Я за королеву! — отвечал я.

— А она за меня! Следовательно, и ты за меня!.. Отлично!.. Через час сбор... Иди же и похлопочи!..

VII

ПЕРЕМЕНА

Я застал почти всю армию в сборе. Не было только штаба и Ржаницына. Армия находилась, видимо, в большом волнении... Она разбилась на маленькие кучки, очень оживлённо о чём-то рассуждавшие. Глушицкий переходил от одной к другой и, размахивая руками, горячо убеждал всех в чём-то... Некоторые кивали ему утвердительно головою, другие выслушивали молча, и очень немногие — два-три человека — казалось, ему совсем не сочувствовали. Образцов сидел в стороне, наблюдая за разговаривавшими.

Когда к нему подходили и что-то тихо говорили, он только кивал утвердительно головою.

Это я видел издалека, остановившись при входе в огород. Я догадался, в чём дело...

Но, не давая понять этого, я поздоровался с Образцовым, с Глушицким и, увидев Шульца, что-то толковавшего Карпову, крикнул Грише:

— О чём это ты говоришь с ним?

— Так себе... Ничего...

— Я ведь знаю,— сказал я,— брось, это дело не наше, а королевы!

— Это почему?.. Ей сидеть в комнате всё равно, а воюем мы...

И он опять было пошёл к барабанщику. Тогда я отдал громко приказ:

— Первая рота — стройся!

— Это зачем? — обернулся Шульц.— Ещё рано!

— Не твоё дело,— возразил я.— Я отдаю приказ, и все вы обязаны слушаться ротного...

— Это ещё что за фокусы, вроде...— начал было Шульц.

Но я оборвал его:

— Рядовой Шульц, ещё слово, и я арестую тебя!.. Рота, стройся!

Мой приказ был исполнен.

— Скажи, пожалуйста, зачем это? — подошёл ко мне Глушицкий.

— Для порядка!..

Затем я велел Лейбе играть марш и повел роту за баню. Отойдя на несколько сажений от всех, я остановил роту и обратился к ней со следующими словами:

— Солдаты! Мы все присягали королеве... А слово надо держать! Кто его не держит, тот бесчестный человек... Правда?

— Правда! — ответили все.

— Помните же это!.. Мы должны исполнять всякий приказ королевы. Кто бы вам ни приказывал делать то, чего она не хочет, — вы не должны!

— А если генерал велит? — спросил Фалин.

— Генерал не пойдёт против королевы!

— Да не Засецкий, а другой?..

— У нас один генерал — Засецкий! — сказал я.

— А если армия его сменит?

— Без воли королевы нельзя сменить!..

— Вся армия желает иметь генералом Ржаницына! — крикнул Шульц. — И я не хочу...

— Рядовой Шульц, под арест! — произнёс я. — Взять его!..

Ратов, Лавдовский и Верецагин бросились и схватили Шульца, хотевшего бежать.

— В острог! — скомандовал я. — Рота, за мной!

— Ну, погоди, ну, погоди! — говорил Шульц. — Ты думаешь, ваша возьмёт? Зазнался, что ротным стал... Погоди!

Мы поравнялись с крепостью. В одно же время сюда подошли и генерал с адъютантом. Ржаницын уже сидел рядом с Образцовым.

— Что это? Куда вы его? — спросил Засецкий, увидев Шульца, которого держали за руки трое солдат.

— Я велел посадить под арест, — доложил я генералу.

— За что?

— За дерзость и неповиновение мне!

— А, отлично! — радостно воскликнул Засецкий и подтвердил: — Посадить его в острог!

Я думал, что сейчас произойдёт возмущение и Шульца освободят, но ошибся: армия не сделала даже и попытки освободить Шульца. Его посадили туда, где вчера сидели пленники...

Засецкий отдал приказ выстроиться. Армия выстроилась в два ряда, причём полковые командиры встали каждый впереди своего полка, а ротные по краям полков.

— Ружья на караул! — послышалась команда генерала. Сделано — красиво и быстро.

— Адъютант, прочтите указ королевы! — произнёс Засецкий.

Гриша Лавдовский громко и внятно начал читать... Все слушали со вниманием... Как и раньше, королева благодарил войско за храбрость, хвалила за победу, но затем выразила неудовольствие, что мир заключён не так, как бы следовало, что полковой командир Ржаницын заключал мир, тогда как это дело генерала, что этим поступком нарушалась дисциплина. Условия мира всё-таки королева подписала, но Ржаницин предавался суду.

Дальше следовали награды... Но Лавдовский не мог продолжать чтение. Как только стало известным, что Ржаницын предаётся суду, вся армия заволновалась: поднялись крики, солдаты нарушили строй и побросали ружья... Напрасно я и Бунаков убеждали свои роты — нас не слушали...

— Но слово, слово, данное королеве! — кричал я.

— Так нельзя! Это несправедливо! Ржаницын лучше всех дрался! — отвечали нам.

— Ржаницына генералом!

— Долой Засецкого!

— Не хотим Засецкого!

— Он всё наврал королеве!..

— Конечно! Она не знает ничего! Она не видела...

— Короля! — крикнул было Михей, но его никто не поддержал.

— Ржаницына генералом! — орали все дружно.

Засецкий приказал мне и Бунакову усмирить бунтовщиков.

Но что могли мы сделать? Если бы и обе наши роты стояли за генерала, и тогда бы пришлось открыть настоящий бой. Но этого не было. Все — за Ржаницына. Да и мы с Бунаковым, собственно, стояли не за генерала, вполне разделяя общее мнение, что Ржаницын лучше, — но за королеву...

Я попробовал, однако, крикнуть:

— Солдаты! Господа! Именем королевы!..

— Долой Засецкого!.. Бери его!..

На меня накинулись было трое, но Бунаков отбросил их.

— Да я тоже за Ржаницына! — крикнул я. — Дайте сказать только...

— Ты не за Засецкого? Ну ладно, ладно, говори!..

Тишина на минуту водворилась.

— Господа, — начал я, — армия не хочет Засецкого («Нет, нет!»), но ведь нельзя же избрать Ржаницына без воли королевы! («Она ничего не знает!.. Её обманул Засецкий!») Ну, так скажем ей всё, всю правду, и она согласится с нами!.. Она любит армию и всегда будет за правду... Мы ей дали слово, и нарушить его нельзя!.. («Это верно! Мы не хотим изменять! Пусть только Засецкого вон!..») Так за чем же дело стало... Пойдём к королеве... («Идём! Идём!») Но, господа, не все же!.. Я бываю у неё, я и схожу... Пусть ещё кто-нибудь... Я даю честное слово, что скажу правду!..

Поднялся опять крик... Одни соглашались на такое предложение, другие требовали, чтобы Ржаницына сделать сейчас генералом, а уж затем только объявить об этом королеве... Я опять начал доказывать, что нельзя обижать королеву, что это — позорно, мы дали слово слушаться её...

— А если она не согласится? — вдруг задал вопрос кто-то.

— Тогда мы и без неё сделаем!.. — ответил Глушицкий.

— Это бунт! — крикнул Засецкий. — Я сейчас пойду тоже к королеве и скажу всё...

И он пошёл...

Тёрка давно уже был у крепости.

— Это что же, — обратился он ко мне, — бунт у вас?.. Кольку-то вон?.. По шее?.. Стало быть, Ржаницын генерал?.. А королём кто же? Вот бы его!..

Крик ещё продолжался, когда я побежал к королеве вместе с Алёшей Бунаковым, которого армия послала следить за мною...

Аня брала урок музыки, когда мы вызвали её.

— Что такое? — спросила она. — Сейчас прибежал Коля Засецкий, но мама была в зале, и я не могла выйти...

Я кратко, но ясно изложил дело.

— Ну вот, тут и узнавай, где правда... — улыбнулась Аня. — Я ведь сижу здесь — где же знать... Право, лучше бы вам избрать себе короля, а то ещё мне же что-нибудь сделают ваши солдаты...

— Да нет же, — возразил я, — они все за вас, ведь присяга... Вы только теперь сделайте так, как они хотят...

— А как же обидеть Колю?

Она задумалась.

— Вот что, — решила она, — я не назначаю никого и не сменяю Коли Засецкого... Пусть армия делает, как хочет... Я разрешаю... И скажите вот что: я бы хотела совсем отказаться... Право, это лучше!..

Мы полетели с ответом, уговорившись с Бунаковым не передавать последних слов королевы.

— Ну, что, что? — раздалось несколько голосов сразу.

— Королева разрешила делать армии, что она хочет!..

— Вот это ладно!..

— Вот отлично!..

— Ура-а!.. Да здравствует королева! Да здравствует генерал Ржаницын!..

Громче всех кричал Шульц, которого без меня уже выпустили.

Новый генерал выстроил всё войско в один ряд, прошёл мимо него и громко, отчётливо произнёс:

— Здорово, ребята!

— Здравия желаем, ваше превосходительство!

— Поздравляю вас с победой!

— Ура-а!..

— Я назначаю своим адъютантом Образцова!..
Согласны?

— Согласны!.. Ура-а!..

— Теперь все по домам, а в следующее воскресенье (было уже Крещение и назавтра начинались классы) — будьте здесь снова!

Он помолчал и добавил:

— Я сделаю смотр всей армии... Степан, и ты собери своих казаков...

— Зачем?..

— Так надо... Парад сделаем... Угощение будет!..

— Что ж, ладно, если кто пойдёт — я созову...

— С песнями по домам! — скомандовал новый генерал. —
Ружья вольно!

Мы затагнули: «Дело было под Полтавой» — и направились к выходу...

Гриша Лавдовский пошёл с нами же; но он молчал и чувствовал себя неловко.

— Ты останешься? — спросил я у него.

— Нет, — подумавши, отвечал он. — Это не игра. Если силой — какая же игра!

— А Засецкий?

— Конечно, уйдёт!.. Да ведь теперь когда же и играть-то? Ученье, там экзамены... Что летом... Ну, а это ещё далеко...

VIII

КОРОЛЬ АНДРЕЙ I

С пятницы мы уже начали готовиться к смотру. На большое расстояние около крепости снег был расчищен. Кто-то сказал, что будет и королева.

— Правда ли это? — спросил я у Коли Соколова, возвращаясь с ним вместе в субботу из гимназии.

— Не знаю, сестра ничего не говорила, — ответил он. — А что?

— Да ничего... Конечно, это было бы очень недурно... А то армия её совсем не видит...

— Ей неудобно, — сказал Коля, — холодно, а она так легко простужается: чуть что — и заболит горло... Да, знаешь, — добавил Соколов, — и неловко...

— Отчего?

— Так... И то подружки смеются... Отчего же ты, спрашивают, без конвоя ходишь? Пажи бы должны идти за тобой или стража почётная...

— Да ведь это же игра... Чему тут смеяться? — заметил я.

— Конечно, а всё-таки смеются...

Однако накануне смотра стало окончательно известным, что королева будет.

Армия собралась вся, за исключением Гриши Лавдовского и Засецкого. Мы выстроились в ряд, одетые в гимназические пальто, перетянутые ремнями... Ждать генерала не пришлось долго. Он громко поздоровался с нами, мы ответили дружно и молодецки:

— Здравия желаем, ваше превосходительство!

— Через полчаса прибудет королева, — объявил он и сейчас же начал предварительный смотр.

Мы маршировали на разные лады (в одиночку, попарно, поротно, полками и всей армией зараз), бегали, фехтовали, ходили на примерный приступ... К концу смотра собралось человек десять казаков и явился Степан... Ржаницын установил их также в ряд, немного поодаль от нас. Когда мы окончили ученье, генерал объявил атаману, что желает осмотреть и казаков, как союзников, и попросил Степана принять команду над ними. Началось беганье казаков, после чего они раза два прошлись «рысью», воображая, что они едут на лошадях.

Когда атаман узнал, что явится королева, он выразил было своё неудовольствие.

— Ведь я же сказал, что не хочу идти на службу к ней, — произнёс Степан.

Но Ржаницын урезонил его.

— Это не служба, — сказал он. — Ты не подданный, а только союзник. Но после победы надо же чем-нибудь выразить покорность. Твои казаки только по своей охоте отдадут честь... Не я, а ты и командовать будешь... За это королева тебя наградит звездою.

Атаман склонился на доводы генерала, и когда явилась королева, он со своими казаками также крикнул «Ура!», хотя и не столь дружно и громко, как мы.

Королева была одета в шубку, опушённую чёрным барашком. На голове — красивая барашковая шапочка... Она выглядела очень бодрой, свежей, красивой и всем чрезвычайно понравилась... Поздоровавшись, она выразила радость, что видит армию, которую давно не видела, поблагодарила лично за все подвиги и затем вдруг, неожиданно для всех, заключила:

— Но я очень и очень редко могу видеть вас, здоровье мое слабо... Армия увеличивается, надо иначе вести дело... А я не могу этого... Король будет удобнее и полезнее армии теперь... Я слагаю с себя звание королевы... Изберите себе короля!

Мы молчали. Мы не знали, что ответить на такую неожиданную речь... Ржаницын первый заговорил:

— Вы огорчаете армию вашим отказом... Все поражены им... Я прошу от лица всей армии — не покидать нас!..

Но королева осталась непреклонной... Ни убеждения генерала, ни просьбы большей части армии не изменили её решения...

— Нет, нет, я не могу, — повторила она. — Изберите себе короля... Да чего... Вы, генерал, всех достойнее быть им... Вы храбры, сильны и опыты...

И вдруг она очень смело обратилась к нам:

— Хотите, солдаты, иметь королём его? — указала она на Ржаницына. — Я предлагаю вам его избрать!

— Ура! — закричали мы.

— Согласны?

— Согласны! Согласны!..

— Да здравствует же король Андрей I! — крикнула Аня.

— Ура! Да здравствует король Андрей I!

Мы хотели подхватить его на руки, но он остановил нас и громко крикнул:

— В ряды! Стройся!

И всё, что мы делали недавно в виде репетиции, мы повторили теперь перед своей бывшей королевой, повинувшись команде вновь избранного короля.

Розовые щёчки Ани начали синеть, и она поспешила удалиться. Мы проводили её до ворот огорода с криками «Ура!».

Степан был очень доволен, что король заменил королеву, и выразил желание примкнуть к армии.

Король сейчас же привёл его и казаков к присяге и объявил их кавалерийским корпусом... На другой день все солдаты и офицеры получили по медали на память о королеве. Атаман — звезду. Я и старший Бунаков произведены в полковые командиры, а Шульц и Рухлов были сделаны ротными: Шульц 1-й роты, Рухлов 2-й. Назначение меня и Бунакова состоялось по просьбе и желанию королевы.

* * *

«Чёрный снова поступает в армию...»

Это известие, сообщённое впервые Пашей Лавдовским, удивило всех.

— Слышал? — обратился ко мне Верещагин, встретившись со мною в коридоре.

— Что?

— Чёрный опять к нам переходит.

— Не может быть!..

— Верно!..

Я сообщил новость Шульцу, и тот в свою очередь изумился.

— Я думаю, что это ложь, — решил он.

Но известие оказалось действительно справедливым, хотя и не совсем точным... Выйдя из казаков, Карпуша уже не хотел возвращаться к Степану. Но когда королём сделался Ржаницын, Чёрный явился к нему с новым предложением.

— У вас теперь Стёпка вроде кавалерии, да? — спросил он у короля.

— Да...

— А артиллерия у вас есть?

— Нет...

— Ну, вот!.. Какая же это армия без артиллерии... У всех армий есть артиллерия... Так ведь, есть?

Король согласился, что, действительно, во всех армиях существует артиллерия.

— А хотите, и у вас будет? Я соберу мальчишек и образую артиллерию... Только уж я буду её генералом, совсем особым начальником, никому не подчинённым!..

— А мне? — спросил Ржаницын.

— Ну, тебе, конечно, буду, потому что ты король... Но больше никому...

— Погоди... Но какая же вы артиллерия, если у вас нет пушек? — спросил король.

— Всё будет, всё...

— Где ж вы возьмёте?

— Найдём уж... Это не ваше дело... Будут и пушки, и всё как следует... Согласен?

Король согласился, но с условием, что прежде чем даст Чёрному звание генерала от артиллерии, тот покажет свои орудия.

На том и порешили.

Через десять дней артиллерия была готова... Мы знали об этом, но как всё устроено — это нам не было известно, и потому мы собрались с особенным интересом на новый смотр, который происходил на Масленице.

— Какие же у них пушки?.. — задавали мы вопрос друг другу.

Но вот показалось вдали и новое войско, или, правильнее сказать, новая часть нашего войска, под предводительством генерала Чёрного...

Впереди шло шесть человек артиллеристов, а за ними двигались орудия.

Вы видали, конечно, читатель, двухколёсную ручную тележку, на которой возят воду или бельё? Она не особенно тяжела, и её один взрослый везёт без труда с грузом. Пустую в силах вести даже и мальчик. И вот мы увидели две таких тележки, каждую везли по два мальчика; на доске тележки, куда кладут груз, стояла обыкновенная игрушечная пушка. За орудиями шло четверо солдат. Карпуша, в шапке с султаном, важно шёл сбоку.

Артиллерия поместилась слева от нас, а кавалерия справа... Каждая часть войска имела своего генерала.

— Теперь совсем хорошо, точно и взаправду всё... — произнёс Паня.

— Вот, вот! — радостно поддакнул Соколов.

— Откуда только Чёрный набрал себе солдат?

Их всех было 14 человек, из них 6 реалистов и 4 ученика уездного училища. Лошадей изображали четверо уличан, как оказалось потом, за плату: всякий раз, когда они должны были являться конями, им выдавалось или по 3 копейки, или соответственное количество пряников... Затея Чёрного всем очень понравилась... Смотр прошёл необыкновенно

оживлённо. Мы маршировали, кавалерия то неслась рысью, то галопом... Артиллерия величаво проехала мимо короля, а потом стреляла из пушек (горохом).

— Ну, Степан, — смеялись мы после смотра, — находи и ты себе кого-нибудь в лошади... Пусть тебя везёт.

Раздался общий смех.

— Куда, я замучаю, — широко осклабился генерал от кавалерии, очень гордившийся звездой и эполетами.

— А ведь лучше, что у нас теперь король, — обратился ко мне Паня. — Видишь, и Чёрный пристал, и Стёпка... Да и он сам видит, что неладно, всегда — здесь, с нами... А девочке так неудобно.

С этим нельзя было не согласиться.

Гриша Лавдовский, отказавшийся было продолжать игры, однако, вновь присоединился к нам, в качестве второго адъютанта. Но Засецкий считал себя страшно обиженным и не хотел иметь никакого дела с армией, с её «лжекоролём», как звал он Ржаницына.

IX

ФЛОТ. ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ОБ АРМИИ

В учебное время наши игры происходили с большими перерывами. Мы собирались на учење только по воскресеньям, а если было много классной работы, то пропускали иногда и праздники.

Вообще в это время армия никогда почти не собиралась в полном составе. Кавалерия была более аккуратна, но артиллерия, по той же причине, что и мы, также часто манкировала сборами. Конечно, иначе и быть не могло. В этом случае огромную пользу приносила кавалерия. Король и пользовался ею. Так, одна кавалерия была послана наказать «приходчину», то есть учеников приходского училища,

осмелившихся смеяться над гимназистками, знакомыми королю, и подругами младшей сестры бывшей королевы. Генерал Тёрка налетел со своими молодцами на врагов и проучил их.

— Если ещё вздумаете делать то же — будет хуже! — пригрозил он.

Те не посмели повторить своих шалостей... Кавалерия же слетала в Прилуки и достала обратно двух щенков, утащенных каким-то прилучанином у одного из наших солдат... Взять обратно щенков удалось только после жаркой схватки, причём одному из кавалеристов пришлось заплатить своей шапкой, которую он потерял в битве и не мог найти её после.

За все такие подвиги кавалерия получала награды, и Степан был очень доволен поручениями, даваемыми его корпусу... Число кавалеристов возрастало.

Около Пасхи Засецкий переехал из нашей улицы на Воскресенскую набережную, в самый конец города.

Не прошло и недели, как до нас дошло известие, что Засецкий хочет основать особую морскую державу, завести флот и начать с нами войну...

Нам это не показалось опасным, но на мысли Засецкого остановилось внимание короля, и он решил весною завести у себя также флот. Для первого раза довольно одного корабля. А там дальше — можно добыть на войне и ещё одну-две лодки...

Экзамены, начавшиеся вскоре после Пасхи, на время совсем заставили нас забыть об играх. Экзамены наступили и у короля с адъютантом. Все мы засели за книжки и ревностно начали повторять, выкинув из головы всё относящееся до армии, до войны и тому подобного. Мы думали только о том, чтобы не провалиться на предстоящих испытаниях...

Для всех нас, кроме Шульца, они прошли благополучно. Шульц «срезался» из трёх предметов и должен был оставить гимназию, так как пробыл уже два года в одном классе.

Точно гора упала с плеч, когда мы покончили с экзаменами... Первые дни мы все были полны своим счастьем — и наслаждались им. А тут вспомнили и об играх... О них нам напомнил Засецкий, который действительно начал формировать особое войско...

Наша армия изменилась в составе. Некоторые уехали в деревню, другие — в дальние города, на родину. Но вместо уехавших вступили новые, и количественно армия почти осталась такою же.

Ржаницын не любил дремать — и энергично принялся за устройство флота. Лодка была куплена за три рубля; оставалось сделать парус, флаг да дать название кораблю.

Его назвали «Победа», и чуть ли не вся армия отправилась за город смолить корабль... «Победу» вела на буксире другая лодка, которую наняли на сутки. С песнями мы ехали в оба конца, но туда на чужой лодке, а назад на своём корабле, с флагом. Весело провели мы весь день, ясный и жаркий: ловили рыбу, разводили пожар и варили превосходную ушицу... Кавалерия и артиллерия также были с нами, но вторая, понятно, без орудий. Мы смолили лодку невдалеке от Прилук. Прилучане сделали было попытку напасть на нас и отнять лодку, но силы их оказались гораздо слабее, и мы, разбив врагов наголову, прогнали их домой и захватили двоих в плен. В город мы возвращались поздно вечером, разделившись на две части: одни на просохшей уже лодке, а другие берегом. Обоих пленников, торжествуя, в виде трофея мы провели до заставы и отпустили обратно домой...

Почти у самой заставы играли в лапту слободчане. Увидев нас, они стремглав бросились домой... Теперь армия представляла из себя такую силу, которой боялись уличные ребята.

Мы гордо вступили в город и через огороды добрались до своей гауптвахты. Ехавшие на лодке прибыли часом позже. Мы все устали — и король не стал делать смотра, он только поздравил нас с основанием флота, назначив его

начальником Михайлова, прекрасного гребца, умевшего отлично управлять парусом и плававшего как рыба.

Мы разошлись по домам, с тем чтобы собраться на следующий день для ученья и ознакомления с расписанием о загородных экскурсиях всей армии и отдельных её частей...

С этую сладкою мечтою я заснул, и с нею же проснулся рано утром на другой день.

Меня ждали два известия: во-первых, «Победа» была кем-то украдена. Без сомнения, эта новость страшно бы меня опечалила, если бы я не был поражён другой, более важной для меня: матушка объявила, что мы едем в Тамбов, к дяде.

— Как? А ученье? Армия? — растерянно спросил я.

Сёстры громко засмеялись, а матушка промолвила с доброй улыбкой:

— Ну, делать нечего, возьми у своего генерала отпуск... Мы ведь в июле вернёмся...

Но мне уже не пришлось возвратиться на родину. Дядя вскоре по нашем приезде овдовел и упросил матушку остаться жить у него. Я поступил в Тамбовскую гимназию. В первый год я послал два письма к Пане Лавдовскому — и он охотно отвечал мне. В последнем письме он извещал, что Тёрка отдан в ученье, а Ржаницын поступил в семинарию — и отказался от игр. Избрали ли кого-нибудь другого королём и кого именно — Паня не писал. Долго ли армия продолжала своё существование после моего отъезда, я так и не знаю до сих пор.

Уже прошло много лет с тех пор... Все мы, бывшие солдаты этой детской армии, давно несём настоящую, серьёзную службу: Паня — где-то врачом, Глушицкий — учительствует, а Шульц, Засецкий, Митя Бунаков — храбро дрались в последнюю турецкую войну на Балканах и получили

...в последнюю турецкую войну на Балканах — имеется в виду русско-турецкая война 1877—1878 гг.

Георгиевские кресты. О судьбе остальных я ничего не могу сказать. Впрочем, недавно узнал, что Ржаницын дьяконствует в селе, а наша бывшая королева живёт в Одессе, где считается лучшею учительницею музыки.

Много лет прошло с того времени, как «горделиво, на палочке длинной, в красной каске гарцуя пред строем», я воображал себя полководцем, но и до сих пор, бродя мыслию в прошлом, я с нежным чувством вспоминаю наши игры... И что мне дорого и приятно — так это то, что и тогда мы стояли за правду своей детской душой, отстаивая обиженных, воюя с теми, кто делал им зло... Остались ли все верны этому чувству? И вспоминают ли остальные мои товарищи свои игры с тем же тёплым чувством, как и я?..

Гуляя как-то по сполью за заставой небольшого городка на юге России, я наткнулся на кучку ребяток. Их было человек десять. Самый старший начальствовал над ними, и они послушно маршировали под его команду...

Всё прошлое, со всеми подробностями припомнилось мне — и вдруг у меня явилось желание занести его на бумагу, рассказать и другим, как мы играли в солдатики...

О, светлое детство! О, детские грёзы!
Вас время смахнуло всесильным крылом;
Но я сквозь житейские горькие слёзы
Вам улыбаюсь тайком!..

Самара, июль, 1888.

Георгиевский крест — воинская награда за выдающуюся храбрость в бою.

Дьяконствовать — быть дьяконом (иметь сан, относящийся к первой, низшей степени духовенства, дающий право участвовать в свершении церковных таинств в качестве помощника священника).

Сполье — межа, разделяющая поля.



**ЯНКИ
ВОЛОГОДСКОГО УЕЗДА**

Его звали Вале́й, то есть Валенти́ном, но в школе он был известен под именем «янки». И вся школа так уже привыкла к этому прозвищу, что оно совсем почти заменило настоящее имя.

— Янки, дай мне, пожалуйста, резинку! — обращался к Вале кто-нибудь из товарищей, и он вытаскивал из столового ящика свой красивый пенал и доставал оттуда требуемое.

— Янки, иди сюда! — кричали дети, затевая какую-нибудь игру, и Валя шёл на их зов.

«Янки, янки» — это слово беспрестанно раздавалось и в классе, и в пансионе, — и не было, кажется, ни одного случая, чтобы обмолвился кто-нибудь и назвал Валу по имени. Когда в середине года поступил новичок, то ему сразу отрекомендовали Валу за янки.

— Как зовут вас? — обратился новичок к соседу.

— Волоховым.

— Не зовите его так! Это янки, зовите янки! — закричали школьники, обступая новичка.

И этот, слыша, как все зовут его соседа янки, и сам стал называть его так же.

«Но отчего же Валя получил такое прозвище?» — полюбопытствует, вероятно, читатель.

Я расскажу сейчас один случай из школьной жизни своего маленького героя. Необходимо начать с того, что Валя чрезвычайно любил читать путешествия. Все так называемые «карманные» деньги он издерживал на покупку книг — и, разумеется, таких, где бы говорилось о других землях, описывалось чьё-нибудь путешествие, полное заманчивых приключений. Он читал с таким увлечением,

Янки — так зовут себя природные американцы. (Примечание автора.)

Пансион — здесь: общежитие для приезжих учащихся.

что часто не засыпал до полночи и нередко совсем забывал свои уроки. Раз Валя купил у букиниста какое-то сочинение Майн-Рида: там описывалась роскошная американская природа, приключения одного янки в лесах, где он дрался с индейцами, попал к ним в плен, приговорён был к казни, но спасся при помощи старого Боба, полюбившего белого за его невероятную храбрость. Трудно выразить словами увлечение Вали! Он прочёл книгу шесть раз сряду, не расставался с нею ни на минуту и, ложась спать, клал её с собою под подушку. С этих пор всё остальное, кроме Америки, её степей и индейцев, перестало интересовать Валу, если не вернее сказать — перестало вообще существовать для него. Он жил мечтами там, далеко за океаном, видел перед собою лес и степи, сражался с краснокожими, предводительствуя отрядом неустрашимых янки. С этих пор храбрее янки, лучше янки — не было никого в мире!

— Да ведь ты-то не янки! — заметил однажды товарищ, которому Валя в волнении и с покрасневшими щеками рассказывал о своих любимых американцах.

— Что ж такое! — возразил Валя не то с грустью, не то с досадой, зачем он русский, а не американец.— Теперь нет, а вот вырасту, уеду в Америку и сделаюсь янки!

Через два дня после этого разговора был урок географии. Учитель читал что-то из американской жизни. Это была повесть. Весь класс с увлечением слушал рассказ о малоизвестной жизни нового света и о похождениях белого среди индейцев. О Вале нечего и говорить: он сидел подпёрши голову обеими руками и даже закрыл глаза, как будто для того, чтобы лучше представить себе те сцены, которые описывал американский сочинитель.

Букинист — торговец подержанными книгами.

Майн-Рид Томас (1818—1883) — английский писатель, автор популярных приключенческих романов; подолгу жил в США; действие ряда его произведений происходит в Америке.

И очень может быть, что перед глазами пылкого Вали одна картина проносилась за другою. По крайней мере, он улыбался порою, минутами делался необыкновенно серьёзен и раза два шевельнулся на своём месте, дрогнул всем телом.

«Такова была жизнь этого неустрашимого янки, которого сами индейцы звали страшным и уважали за отвагу и ловкость!»

Этими словами учитель закончил рассказ.

Валя, который, кажется, совсем забыл, что он в классе, мгновенно поднял голову и, не открывая ещё глаз, воскликнул с оживлением своим мягким, несколько певучим голосом:

— И я буду янки... я уеду в Америку... там...

Дружный хохот сорока человек огласил классную комнату.

Валя открыл быстро глаза, остановился на полуслове — и с каким-то удивлением, словно сейчас проснувшись, посмотрел вокруг себя.

Учитель улыбался, все дети продолжали хохотать.

Удивление сменилось смущением, и Валя покраснел до корней своих русых волос.

«Янки!» — пронеслось в первый раз с задней парты, и это слово, подхваченное всем классом, с того же дня обратилось в прозвище Вали. Он сначала обижался и сильно восставал против такой замены фамилии, но его горячность сделала только одно: слово «янки» всё чаще и чаще стало раздаваться в классе.

Дело кончилось тем, что Валя перестал обижаться. Сначала он, правда, ещё замечал иногда: «Ну что ж, янки так и янки; они — храбрые и хорошие люди». Потом он ничего не возражал и был даже, кажется, очень доволен тем, что его зовут все «янки». Уехать в Америку, сражаться с индейцами сделалось его заветною и любимую мечтою.

II

Фомка, десятилетний крестьянский мальчик, внучек деревенской лекарки «бабушки Олёны», во всём околотке слыл за огонь-мальчишку, за первого каверзника и воришку бобов, гороху и репы...

— А поймать его нельзя разве? — спрашивали старую Фёклу, сердито ворчащую по случаю испорченной гряды.

— Пымать! — с досадой отвечала рябая Фёкла.— Ловок больно ты, я вижу: рази такого шустрого пымаешь!

— Ишь он!..

— Пымать! — не могла ещё уходитья старуха.— Этакого сорвиголову кто пымает!

— Да ты уже наверное знаешь, бабушка, что это Фомка попортил твою грядку?

Фёкла даже шевельнётся с досады на лавчонке и бровями поведёт сердито и гневно.

— Кто ж окромя его-то? — с неохотою произнесёт она наконец.— Он и есть эта самая язва... от него ничего не укроешь... известно...

И она уже не объявляет, что такое именно известно, потому что кто не знает, что Фомка — первый каверзник и сорвиголова!

Но нельзя не сказать двух слов и в защиту бедного Фомки. Каверзник он, это правда, и кличка сорвиголова подходила к нему тоже, но нередко этой сорвиголове приходилось расплачиваться совершенно за чужие грехи.

— Фомка, а Фомка? — зовёт Олёна своего внука.

— Что, бабушка?

— Ты это что опять там наделал-то?

— Я, бабушка, ничего.

— Знаю я это ничего. А кто максимовскому петуху голову свернул? Не ты, небось?

Околоток — округа.

— А вестимо не я.

— Ах, ах... Фомка... огонь ты... и что это только из тебя выйдет...

И призывает Олёна своего кума старика Вавилу, и кормит этот Вавила берёзовой кашей шустрого Фомку, кормит за то, что Мишка Беспалый оторвал голову петуху Максима...

Сорвиголова пользовался великим почётом среди своих товарищей; но, как видите, не даром покупался этот почёт, и не будь Фомка именно сорвиголова, давно бы бросил он свои шалости.

III

Уже более недели, как Валя живёт в усадьбе бабушки, в красивом Сосновом, которое отстоит всего на четыре версты от Пузатова — родины Фомки. Лето стоит дождливое, ненастное, и редко-редко если выпадет красный денёк. То утро хорошо, да к полдню погода «скислится», а то около полудня весело солнышко играет на куполе сельской церкви и молодых ракетах, так к вечеру — всё небо заволакивается тучками и начинает сеять, как из решета, мелкий дождичек...

Валя, однако, не смотрит на погоду и разгуливает по саду: ему ли, будущему янки, предводителю целого отряда, да сидеть в комнате из-за какого-то дождика! Только вот что не нравится Вале — скучно одному в имении бабушки: и дом красивый, и сад богатый, даже с оранжереями; и кегли хорошие — но что же в этом, если нет ни одной живой души! А он так привык к товариществу в пансионе! Он думал, ехавши из города, встретить в Сосновом обоих двоюродных братьев, поиграть с ними... в охоту, в «янки»... и вдруг — никого! Один уехал с отцом на всё лето в Италию, а другой,

накануне акта, сильно заболел и его увезли в Петербург для лечения... И вот он, Валя, один в этой глуши, один с семидесятилетней бабушкой, которая хотя и любит его до безграничности и балует до nepозволительности... но что же с ней-то молодому янки!..

И он скучает, уныло бродит по бабушкину саду.

А в это время Фомка, не видя барчонка, осторожно лезет через решётку сада, чтобы нарвать себе черёмухи. Конь и о четырёх ногах да спотыкается — не диво, что и Фомка, ловкий, шустрый мальчишка, «провалился» хоть раз в своих похождениях. Только что он хотел прямо с решётки да и на черёмуху, как вдруг одна нога его оборвалась и он кубарем полетел в сад, прямо на парник. И счастье его, что он не попал ещё головою в парниковую раму!

Валя услышал падение тела, крик Фомки и быстро свернул из прямой аллеи к забору.

Фомка заметил барчонка, но прежде чем этот успел добежать до него, он был уже снова на решётке, соскочил с неё и стрелой бросился к дороге...

Вале было ужасно досадно, что ему не удалось поймать воришку.

«А ещё янки... индейцев хватать хочешь», — кто-то словно шепнул ему на ухо. Он против воли покраснел и ещё сильнее почувствовал досаду.

«А ведь всё же ловкач! — не мог не сознаться Валя. — Вот бы с кем сойтись да устроить игру», — подумал он.

Валя предполагал, что кроме его никто и не видел убежавшего воришки, но он ошибался: старый Пахомыч, отставной дворецкий, сидел в это время в саду и видел всю сцену.

— Что, батюшка барин, убежал шельмец-то, не пымали? — добродушно заметил Пахомыч, когда Валя поравнялся с ним.

...накануне акта — здесь: незадолго до конца учебного года.

Дворецкий — старший слуга, заведующий столом и прислугой в господском доме.

— Кто убежал? — не без досады спросил Валя и не совсем-то ласково посмотрел на старика.

Но тот или не заметил досады барчонка, или хотя и заметил, но не показал виду...

— Да Фомка-то,— произнёс Пахомыч по-прежнему добродушно и ласково.

Валя сначала не хотел ничего отвечать старику и уже сделал шаг, чтобы важно продолжать свой путь. Но маленький ловкий мальчик заинтересовал нашего янки, и он не утерпел, чтобы не узнать чего-нибудь о нём.

— Кто такой этот Фомка? — небрежно спросил он у Пахомыча.

— Да внучек одной крестьянки, сударь, пребойкий мальчишка: чертёнок, да и только.

— Из Пузатова?

— Из него самого... там его бабушка-знахарка живёт...

— Что же он делает?

— Да что ему делать-то: ребятишек наберёт, ученья с ними устраивает. «Казачи,— кричит,— мы, с Дону»... Ну, а как вечер — эти казаки и бегут со своим атаманом на битву!

— На какую это битву? — удивился Валя.

— Да вот хоша бы, например, в огород с бобами заберутся, репы нагрузят в мешки, где и снеди утянут, али по черёмуху проберутся... битва это у них называется. «Мы,— говорит, это Фомка-то,— по харчи к неприятелю ходим»...

И улыбнулся старик...

А Валя ещё более заинтересовался Фомкой.

«Вот удалец-то... казаки! Только зачем же казаки? Отчего не янки, янки гораздо лучше! Ах, если бы устроить что-нибудь с ними...»

И чем более Валя думал, тем более он убеждался, что Фомка — славный и храбрый, что с ним надо непременно познакомиться...

Хоша — хоть.

IV

— Так что же, Фомка, идёт? — спрашивал Валя своего нового приятеля, потчuya его пряниками.

В течение только двух дней они так близко сошлись между собою, что Фомка уже держал себя с барчонком самым непринуждённым образом. Да что ещё это — смелый «казак» даже несколько покровительственно относился к «храброму янки». А этот последний, полетевший как щепочка от одного лёгкого толчка Фомки, смотрел не без уважения на сильного «атамана».

— Идёт? — повторил Валя нетерпеливо.

— Да ты откуда это всё узнал-то? — видимо, ещё колеблясь, спросил Фомка.

— Как откуда? Из книг узнал...

— Да врут они, может быть, эти книги-то...

— Ох, что ты, — испуганно возразил Валя, — как же могут врать книги, когда они написаны такими умными людьми, и сам инспектор хвалил нам их.

Слово «инспектор» имело большое влияние на Фомку... Он хотя и не понимал, что это за штука такая инспектор, но ему почему-то сразу показалось, что если инспектор хвалит, то это, значит, правда.

И он промолвил, запихивая в рот последний кусок пряника:

— Ну, ладно! Давай и так...

— Так значит, вы больше не казаки, а янки? — радостно воскликнул Валя.

— Янки, — согласился Фомка.

— И мы...

— Только смотри, — перебил сорвиголова, — приноси и пирогов и пряников, это — беспреренно, смотри.

Инспектор — смотритель училища (гимназии), помощник директора.

— Принесу... всё будет...
— Ну и ладно...
— А когда же мы устроим?
— Да что... ну, вот хоша послезавтра же... идёт?
— Хорошо,— согласился Валя.
— Я и ребятам скажу так,— докладывал Фомка,— вы теперь, скажу, не казаки, а янки.
— Янки, янки,— повторил радостно Валя.
— Вы теперь не казаки, а янки,— продолжал Фомка,— и я уж вам больше не атаман, а вам набольший...
— Я! — воскликнул Валя с чувством.
— Да,— закончил Фомка спокойно.
Валя кивнул одобрительно головой и весело потёр руки.
— А пироги и сласти — это жалованье будет,— промолвил опять Фомка.
— Да.
— Смотри же, будь готов...
Фомка простился с барçonком. И в то самое время, как этот обдумывал «план», сидя в беседке сада, Фомка старался разъяснить своим «казакам», что они уже больше не казаки, а янки...
— Янки, слышите? — командовал он.
— Слышим,— отвечали те, не понимая никак, что это за штука янки и отчего они, так долго бывшие казаками, вдруг превратились в «янки».

V

«Атаман» ещё раз виделся с Вале́й, съел с аппетитом вяземский пряник и помчался из усадьбы в родное Пузатово.

Вяземский пряник — широко известный пряник, выпекавшийся в городе Вязьме.

В тот же вечер «казаки» были собраны на опушке лесочка, и Фомка, повторив ещё раз, что они теперь янки, а уже не казаки, отдал приказ быть готовыми назавтра к восьми часам вечера.

— Сборный пункт — у оврага, за погостом,— произнёс он тоном, который не допускал возражений.

— У оврага? — робко переспросили новые «янки».

— За погостом, у оврага... и чтобы быть всему как следует — по-походному!

— А куда же мы? — несмело осведомился белокуренький мальчик, прежний казацкий десятник, а теперешний янки по имени Буль-буль.

— И долго ли? — присоединился к Булю его маленький братишка.

Фомка так и обдал дерзких своим грозным взглядом.

— Это не ваше дело! — крикнул он на братьев и посмотрел сердито на всю команду.— Вас это вовсе не должно занимать! Наш начальник, Смелая Голова (так назвался сам Валя, окрестивший вместе с Фомкой каждого мальчика новым именем), знает, куда ведёт нас!

— А мне мамка не даст опять картошки,— жалобно и боязливо заметил кто-то из толпы.

— Кто это говорит там? Эй, выходи! — скомандовал Фомка.

Рябой и пузатый мальчишка выступил пред грозные очи Сильной Руки (Фомке очень понравилось это имя).

— Как зовут тебя?

— Коська,— прошептал мальчик, не на шутку струсивший Фомки. Надо заметить, что Сорвиголова, пользуясь правом атамана и сильного, не особенно церемонился с «казаками».

Погост — кладбище.

Десятник — в казачьих войсках командир подразделения численностью 10—15 человек.

— Ты Костька? Ты Костька? — заорал Фомка, насканивая на оробевшего мальчика.

— Медвежья Лапа, — шепнул кто-то сзади Костьке.

— Медвежья Лапа! — бессознательно повторил он.

— Что ты сказал, Медвежья Лапа? — сурово допрашивал Фомка.

— Мне мамка картошки не даст...

— Не даст? Ты говоришь — не даст?

— Да я... помнишь же... — мальчик совсем струсил.

— Чтобы было всё по-походному — знать не хочу! — произнёс Фомка, толкнув Костьку. — А кто не исполнит, слушается... того научат потом повиноваться Смелая Голова и Сильная Рука... Расходись!

Фомке начала нравиться новая игра в «янки». Валя так много рассказывал ему об Америке, что он также пришёл в восторг от американцев и краснокожих; ему вдруг почему-то начало казаться, что в их «походе» должно случиться что-нибудь такое «страшное», особенное.

Мало-помалу он входил в свою роль.

VI

Твёрдая и громкая речь Сильной Руки имела значение. Да и заманчивость чего-то нового также немало способствовала тому, что на сборный пункт собрались все прежние пузатовские казаки.

Валя не заставил себя ждать долго. Он явился одетый совсем по-дорожному. Высокие сапоги до колен, брюки заправлены за голенища, на плечах куртка и сумка на ремне. Два револьвера, пистолет и лук — разумеется, игрушечные, — но, однако, стрелять из них можно — конечно, не порохом, — да это беда не большая. Пирог, пряники и разная другая провизия ещё с утра была добыта Фомкой. Ему Валя передал накануне целых пять рублей (эта большая бумажка

так подействовала на Фомку, что он не решался даже сразу взять деньги), и провизия была куплена в мелочной лавке местного еврея.

Весь отряд радостными криками приветствовал появление начальника.

— Всё хорошо, всё готово? — осведомился он, опускаясь на землю.

— Всё в порядке, весь отряд готов выступить, — доложил почтительно Фомка, которому Валя передал, в виде награды за хлопоты, два апельсина.

Простые янки посмотрели было, не будет ли и им чего-нибудь, но Смелая Голова не нашёл нужным оказывать всем такое внимание.

— Мы вот закусим — и в путь! — промолвил, помолчавши немного, начальник.

— Сильная Рука, — обратился он к Фомке, — кто заведует провиантом?

— Буль-буль и его брат, — отрапортовал Фомка, не меняя своего положения.

Валя оглянулся, чтобы увидеть, кто эти братья Буль-буль. Но толпа сидела спокойно.

— Где же вы? — крикнул Валя, недовольный недогадливостью янки.

— Эй, Буль-буль, — помог Фомка своему начальнику.

Братья поднялись с земли.

— Скорей раскладывайте пироги, картофель, яйца... А вы, — прибавил Валя, обращаясь к толпе, — живее пожог!..

— А вино надо? — осмелился спросить Буль-буль.

— Я думаю, — ответил Валя, — какая ж закуска без стакана доброго вина!

Пять мальчиков бросились собирать хворост, сухую траву и ломать ветки на низеньких берёзках погоста. Буль-буль вытащил холщовый мешок и начал вынимать из него провизию.

Пожог — костер.

— Ба! Вот прекрасно-то! — воскликнул Валя, ударяя себя по лбу.

— Что? — беспокойно спросил Фомка.

— А я и забыл совсем, что у нас нет сигар... Все янки курят,— прибавил он шёпотом, наклоняясь к Фомке.

— Что ж, можно послать! Эй, Карпушка... Зоркий Глаз,— поправился Фомка,— возьми у Буля пять копеек и купи у Ицки сигар... живо!

Только пятки замелькали у Зоркого Глаза.

Через четверть часа в овраге пылал пожар, и дым узкою полоской тянулся к погосту. Буль-буль с братом и ещё двое мальчиков сутились около костра. Они делали яичницу и варили картошку. Валя с Фомкой лежали недалеко от пожара и в ожидании закуски покуривали папиросы. Медвежья Лапа, вооружённый пистолетом Вали, важно расхаживал на своём посту.

VII

Отдых кончился... Поели пирогов, картошки с яйцами, кружка дешёвого вина обошла весь кружок — и отряд тронулся в путь.

Было уже около десяти часов... Тихая безлунная ночь спускалась на землю, и высокий лес, к которому направился отряд, впадал в сладкую дрему, утомясь долгим знойным днём...

Отряд шёл правильно и бодро. Впереди всех — Валя с Фомкой, а за ними другие, по два же человека в ряд. Позади всех братья Буль-буль, нёсшие на палке мешок с провизией и лёгонький сак своего начальника.

В лесу было тихо и безлюдно... Пройдя по узенькой тропке, отряд повернул влево, вышел на поляну, перерезал её

Сак — сумка из плотной ткани.

вкось, пробрался сквозь кусты, снова взял влево и очутился у маленького шалаша, покрытого сверх хворосту тоненькими дощечками. Здесь отряд снова остановился по приказу Смелой Головы, то есть нашего маленького героя рассказа, Вали.

— Расположитесь лагерем, — проговорил он, — а я хочу поговорить с Сильной Рукой насчёт нашего похода... Встань кто-нибудь на часы у палатки, где будет происходить наше совещание.

Зоркий Глаз занял караул, а Фомка и Валя скрылись в хижинке.

Совещание продолжалось недолго, и, говоря строго, оно было вовсе не нужно. Но Валя непременно хотел сделать всё так же, как делают янки... Читателям ещё неизвестно, впрочем, решение обоих приятелей, происшедшее в канун нынешнего дня. В нескольких словах мы сейчас познакомим их с планом «начальников» нашего отряда.

Получив согласие Фомки — устроить ночной поход, Валя долго думал о том, как именно всё сделать: что предпринять и как предпринять. Своё недоумение он сообщил наконец новому приятелю. Сорвиголова недолго думал.

— Лесу ты не боишься? — спросил он Валу.

— Лесу? Отчего его бояться?

— Да мало ль отчего: ну, темно там, да и он шалит порою... мало ль...

— Кто он?

— Да лесовик всё же...

— Ах, что за глупости: это одно... невежество!.. Ничего нету! Нам прямо инспектор говорил: глупые и тёмные люди только верят духам...

Сорвиголова спокойно выслушал рассуждение барича и, когда тот кончил, промолвил:

— Так, стало быть, ты не боишься?

— Разумеется!.. Янки ничего не боятся: это самые храбрые люди в свете!..

— Если так, мы всё устроим. Слушай: в лесу, за пятым оврагом, близ Комёлкинского ручья, есть пожня... тут и до-
линка есть, и опять овражек...

— Ну и что же? — у Вали сердце забилось усиленно от удовольствия...

— Там,— продолжал Фомка,— пасутся кони в ночном... ребята пасут, из Косогоровки...

— Ну, ну, и что же? — Валя начинал понимать план приятеля, и глаза его радостно заблестели...

— Вот мы и нападём на них! — закончил Фомка без всякого увлечения.— Мы тихо подкрадёмся, погасим их пожар, свяжем их... нет, мы их привяжем к деревьям, заберём добычу и на их конях ускачем до опушки... Там уж я знаю дорогу!

Валя на минуту было задумался.

«Не опасно ли? — мелькнуло в его голове.— Но и опять же,— подумал он,— какая же важность! Это и хорошо, что опасно: янки не должен бояться опасности!..»

— Хорошо, что ли? — спросил Сорвиголова, не получая ответа Вали на свое предложение.

— Отлично... это как есть... поход... ребята будут индейцы, а мы янки...

— Вот, вот...

— Отлично, Фомка.

— Чего лучше! Мы налетим... они спугаются... то-то дело!

— Битва! Пленные! — воскликнул Валя.

— Как есть! Уж вот-то я натрясу гриву Макарке... будет он помнить Сильную Руку!

— А что если мы не победим? — как бы про себя заметил Валя.

— Мы-то?

— Да.

Пожня — сжатое поле.

— На-ко! Да их всего шесть-семь человек!

— А нас около двенадцати?

— Всех созову... человек пятнадцать будет.

«А ведь это славно,— подумал Валя,— лес, ночь, пожар, кони... караульщики... как есть в Америке!..»

И он согласился на предложение Фомки.

— Только вот что: меня ты уж не оставь... я тебе и жалованье положу всех больше: всем по пяти, а тебе по десяти рублей (по десяти пряников или яблок понимать надо).

— Об этом не беспокойся, не выдам!

— То-то... А я припасу и тихонько выйду через заднюю калитку.

— Не схватятся разве?

— Пусть... Наутро вернёмся, я всё бабушке расскажу... она добрая, меня очень любит.

— Ну... моя не такая...

— А что, злая? Худо будет, если всё узнает?

— Выпорет,— спокойно ответил Фомка и сейчас же прибавил:— Да это ничего... пустяки!

На том и порешили... Порешили ещё вчера, а теперь уже так только, для соблюдения формы, зашли в шалаш для совещания.

— Слушай, ребята,— произнёс Фомка, выходя из шалаша,— мы идём брать пост индейцев у Комельского ручья. (— Нападём на косогоровских караульщиков,— пояснил он тихонько удивлённым янки.) — Дратесь храбро, стоять друг за друга, слушаться начальника и не даваться живыми в руки... Мы нападём, свяжем их, заберём добычу и ускачем на их конях... поняли?

— Поняли! — крикнул раньше всех Зоркий Глаз, а за ним и вся толпа.

— И отлично! Марш далее, да тише, не кричать, когда будем подходить.

VIII

Прекрасна, дивно-обаятельна северная летняя ночь, эта ночь без мрака и звёзд, когда одна заря встречается с другою... Такая именно ночь и спустилась на землю... тихо, неслышно спустилась, замирала в её легких объятиях вся жизнь, вся природа — и душистая, приятная свежесть сменила нестерпимый зной!

И потухла зорька... Топот
В поле раздаётся:
То табун коней в ночное
По леску несётся.

Соскочили ребята с коней, пустили их на берег ручья траву щипать, а сами на горушку взобрались, у оврага, и на площадке, окаймлённой мелконьким лесочком, пожар развели. Трещат сучья, дымок выше кустов подымается, белой и черной полоской плывёт по воздуху...

У ручья, по травке кони
На просторе бродят;
Собрались дети в кучу,
Разговор заводят...
Всё темней, темней и тише,
Смолкли вовсе птицы,
Только на небе сверкают
Дальние зарницы.
Звякнет звонко колокольчик,
Фыркнет конь протяжно,
Хрупнет ветка, куст,— и снова
Всё смолкает...

И потухла зорька... Топот... — цитируется с неточностями стихотворение И. З. Сурикова «В ночном».

И трещат сухие сучья,
Разгораясь жарко,
Освещая тьму ночную
Далеко и ярко.

И трещат сухие сучья, и болтают дети, вспоминая прошлое, рассказывая друг другу сказки и были, решая по своим силам и по своему разумению разные вопросы...

Вот пронёсся верстах в двух от леска поезд — и слышится свист паровоза в воздухе, громяхают колёса глухо, а эхо подхватило свист и передаёт его с одной стороны на другую...

— Ишь, несётся! — заметил Макарка, враг Фомки.

— И как это, братцы, так устроено! — говорит другой мальчик.

— Без коней, а бежит!

— Вода, слышишь, тащит!

— Дивное дело!

— Господь умудряет человека! — повторил Оська слова своего дяди.

И трещат сухие сучья,
Разгораясь жарко...

— А что же, братцы — ужин-то? Пора бы!

— Пора, пора, Макарка, да где харчи-то?

— Эй, Стёпка, тащи сюда лукошко!

И опять говор, смех и рассказы... Варится картошка, рогули разогреваются... шипит масло на сковороде... Детям весело и привольно... Ждут они вкусного ужина и обещанной Макаркою сказки — и не чувят они, что враг их приближается всё ближе и ближе...

Рогуля — рогулька, ватрушка с зацементированными в виде рогов краями.

IX

— Сссс!

Фомка махнул рукой — и весь отряд моментально остановился.

Они были всего в каких-нибудь ста шагах от индейцев. Виден был и дымок, полоскою тянувшийся в воздухе, и гарь чувствовалась, и звонкий смех с горки ясно доносился из лагеря.

— Вот они... — прошептал Фомка и тихо спустился на землю.

— Ползком... осторожней! Потом — крик, и все зараз!..

И больше ни слова...

Все пятнадцать человек ползком направились к «лагерю индейцев»... Но как осторожно ни ползли янки, а под ними всё же трещали сухие ветки и шуршали листья...

Фомка несколько раз обёртывался назад и грозил кулаком неискусным мальчишкам. Но он напрасно опасался сильно: враги заняты были разговором и приготовлением ужина. Они никак не ждали нападения и не обращали внимания на лёгкий треск невдалеке.

Весь отряд был уже у самой горы... Фомка быстро поднялся на ноги — и, махнув рукой, заорал во всё горло:

— За мной, храбрые янки!.. Смелая Голова, Зоркий Глаз, Медвежья Лапа — не отставай!..

— О-о-о-о! — заорала толпа и вслед за Фомкой и Валею бросилась на горушку...

Рассказ маленького караульщика оборвался на полуслове. Он побледнел и выронил из рук сухую ветку, которую намеревался бросить в огонь. Поражены были и все остальные. Многие также побледнели, а другие, испуганно озираясь, не могли встать: ноги их точно одервенели и приросли к земле! Самый маленький из всех как-то инстинктивно перевернулся и скатился кубарем по противоположному скату...

Минута — и Фомка уже был на площадке.

— Вяжи их, вяжи!..— закричал он и бросился со всего наскока на обезумевшего Макарку...

— Янки! — крикнул Валя.

— О-о-о-о! — заорала толпа и бросилась на караульщиков.

— Не гаси пожара! — крикнул Фомка, стараясь скрутить руки своему врагу.

Началась борьба... настоящая «злая битка», как говорят сербы.

Испугавшись внезапного крика и непонятного воззвания к янки, мальчишки скоро опомнились, когда увидели своих врагов в глаза.

— Нет, шельма Фомка, погоди!..— шипел Макарка.— Не дамся я тебе в руки... погоди...— он натужился и ловким манёвром подвернул под себя Сильную Руку...

— Ребята, не сдаваться! — крикнул он и накиннул было верёвку на шею Фомке....

Но в это время Зоркий Глаз, удачно связавший маленького караульщика, бросился на помощь к своему. Он неожиданно толкнул Макарку, и тот, перелетевши через голову Фомки, ударился головой о связанного товарища.

— Ой, ой!

— Чтоб вас черти!..

А Фомка и Карпуха — не зевали... Они бросились оба на Макарку и принялись вязать его...

Крик, визг и брань оглашали ночную тишину... Разорённый костер начал тухнуть, и, не видя друг друга, маленькие враги дрались нещадно, не заботясь о том, куда попадёт удар...

Валя получил уже два сильных удара в голову, но, разгорячённый битвой, не чувствовал боли; услыша крик Фомки «Братцы, братцы, помогите!», он бросился к нему на помощь. Макарка уже снова сидел на Фомке и вязал его... Почувствовав удар в спину и не видя хорошо врага, Макарка дал рукой

на отмах, и его здоровый кулак прямо ударился в лицо Вале... Смелая Голова не устоял и шарахнулся на землю. В это время чьи-то тяжёлые ноги очень невежливо ступили ему прямо на рот... Он заорал и крикнул о помощи.

— А, ещё есть... бери и его! — крикнул Макарка.

Но Валя уже катился по склону горушки. Он оцарапал себе всё лицо, разорвал брюки; кровь бежала по лицу, и эта же кровь слепляла его волосы...

Валя чувствовал боль не на шутку, но он хорошо понимал, что если не скроется и не убежит, ему достанется ещё от разозлившихся неприятелей. Но куда бежать? Он был один и не знал местности...

В это время какая-то фигура мелькнула в нескольких шагах от него.

— Янки! — шёпотом окрикнул её Валя.

Вместо ответа фигура приблизилась к нему и крепко схватила за руку.

— Отпусти меня! — повелительно произнёс Валя и попробовал рвануться.

— Яшка! Яшка! — закричала фигура.

— Пусти, говорят, — повторил Валя и рванулся изо всей силы.

Рукав его куртки остался в руках врага, но зато сам он был свободен.

— Лови, лови его! — слышались крики.

Не помня себя и не чувствуя боли, Валя бросился бежать по берегу ручья... Говор и крики всё слабели и слабели, а он продолжал бежать. Наконец, выбившись из сил, Валя в изнеможении свалился на землю... Он сразу почувствовал, что под ним не твердая земля, а что-то вроде болота.

«А если змеи...» — вдруг пронеслось в его сознании, и он немедленно поднялся на ноги. Они дрожали, он насилу стоял. А голова ныла... Кровь запеклась на лице — и оно ужасно саднило...

«Да где я?» — подумал Валя.

Свет узкой полоской уже глянул в чащу леса. Место незнакомое! Не тут шли они... И где теперь все янки? Где Фомка? Неужели его связали? А ещё говорил: «Как не победить!»

Валя подумал с минуту и побрел влево. Он шёл с добрых полчаса, лес становился всё глуше и глуше... А силы слабели и слабели... И он опять упал на землю. «Господи! Неужели... да здесь сгибнуть можно! Такая глушь... чего доброго ещё медведи!»

В этот миг что-то треснуло за деревом. Валя побелел как полотно. Но то был не медведь, а простая векша, перескочившая с дерева на дерево и уронившая шишку на землю.

Х

Долго бродил Валя... То он брал влево, то вправо — и всё-таки не мог никуда выйти. Он плакал, молился, бранил Фомку — и уже не раз сожалел о том, что пошёл на индейцев.

«А ведь ты же хотел, — думалось ему. — Ты так давно стремился в Америку. Как же бы там-то, если и здесь не знаешь что делать? Там и буйволы, и настоящие индейцы... а ты...»

Но Валя не хотел и себе сознаться в такой неприятной вещи. Он с досадой бросил свой пистолет в глубь чащи и опустился на траву... Усталость мало-помалу взяла верх над страхом — и «Смелая Голова» уснул...

Он проспал около двух часов и, может быть, проспал бы и долее, если бы громкий голос не разбудил его.

Он вскочил быстро на ноги, огляделся и увидел, что двое мужиков стоят около его.

Он сначала было испугался, но потом сообразил, что это, вероятно, дровосеки, и успокоился.

— Э, да это, никак, сосновский барчонок, — произнёс рыжий мужик.

Векша — белка.

— Ну?

— Право слово! Я бывал у Пахомыча и видал его...

Услыхав имя Пахомыча, Валя ожил от радости.

— А ты знаешь нашего Пахомыча? — спросил он.

— Вона! — отвечал рыжий мужик. — Да он мне ещё сродни будет.

— Я заблудился... сведи меня домой, — сказал Валя и против воли мучительно покраснел. «Вот те и янки, вот те и индейцы!» — опять кто-то словно шепнул ему.

Х I

В Сосновом били тревогу. Бабушка слегла в постель и двадцать слуг бросились искать Валю.

Они ещё не возвращались, когда знакомый Пахомыча привёл Валю домой.

— Голубчик, Валя... — обрадовалась бабушка, и вместо брани и выговора не знала, как и обласкать любимого внука... Вале было и досадно, и стыдно... Но он ничего не рассказал бабушке и на все расспросы отвечал только: «Заблудился».

Фомка и другие «янки» отделались не так-то дёшево. Фомке поймавшие «индейцы» закатали полсотни розог, а бабушка Олёна, узнавшая потом про подвиг внука, опять позвала в гости своего кума... Других — дома хотя и не отпороли, но от «индейцев» и им досталось солоно.

Х II

Всё это было в июле месяце. В середине августа Валя возвратился в свой пансион и усердно принялся за уроки... Он и теперь с увлечением читает путешествия, но каждый раз, как назовут его «янки», он начинает сердиться, говоря, что «это очень глупо, потому что он русский и ему нечего делать в Америке!»



ДЕТИ — ДРУЗЬЯ ГОЛОДАЮЩИХ

В 1868 году зима стояла суровая, холодная. Дыхание спирало, стёкла лопались от холода. Плохо было беднякам в их холодных квартирах. Горевали они, плакали, а холода не прекращались. Сильно стучал морозко в стены ветхих домов, словно смеялся он над бедняками.

В один из таких же морозных дней, ранним утром, в город въехало несколько крытых повозок, запряжённых каждая в одну лошадь. Тощи, замучены были они и еле передвигали свои ноги.

На облучках сидели мужики в овчинных тулупах и в шапках, весьма похожих на самоедские. Тяжёлое горе виднелось на их лицах. При внимательном взгляде можно было увидеть и слёзы в глубоко впавших, безжизненных глазах.

В то самое время, как ряд повозок въезжал в город, из крайнего дома вышел мальчик лет десяти. На нём была надежда тёплая шубка, на ногах — длинные катанки. Небольшая сумочка висела на его плече. Увидев ряд повозок, мальчик остановился, и на его лице выразилось недоумение.

— Кто это? — тихо прошептал он. — Лошади худые, едва идут... Кто это?

Мальчик постоял с минуту и потом пошёл рядом с одной из повозок. Он внимательно осматривал лошадей, и ему стало жалко бедных животных, каждую минуту готовых упасть на мостовую.

Доехав до перекрестка, первая повозка вдруг остановилась. По необходимости за ней остановились и все остальные. Мужик отворотил широкие лопасти своей шапки и огляделся вокруг. Он, видимо, хотел увидеть кого-то. Заметив мальчика, который тоже остановился, он слез с облучка и подошёл к нему.

Самоедские — распространённые у самоедов, саамских племен Северной Руси (ненцев, селькупов и др.).

— Малец, а как к полиции проехать? — робко спросил он.

— Давайте я вас доведу. Мне надо идти мимо же полиции, — ответил мальчик.

— Во! Это ладно, — проговорил мужичок и, вернувшись к своей лошади, задёргал вожжами... Лошадь понапряглась, сдвинула повозку и пошла опять. Ряд крытых убогих кибиток тихо потянулся по улице.

— А ты садись ко мне, — сказал мужик мальчику, шедшему с ним рядом.

— Нет, ничего, я пойду... Смотри, лошадь-то у тебя какая худая, — проговорил мальчик, с жалостью глядя на измученное животное.

— Да, сердечная, отошала, умаялась, — произнес крестьянин, тяжело вздыхая.

— А вы откуда? — тихо спросил мальчик.

— Мы издалече... Мы каргопольские.

— Каргопольские?.. Олонецкой губернии? — воскликнул мальчик, довольный своими географическими познаниями.

— Олонецкой, — подтвердил мужичок.

— Зачем же к нам-то вы едете? — спрашивал мальчик.

— Дома нам есть нечего, хлеба нет; не уродился — у нас голод.

— Куда же вы едете?

— Куда? А едем мы в хлебную губернию.

— Вы и с семьями?

Каргопольские — из Каргопольского уезда, занимающего юго-восточную часть Олонецкой губернии.

Олонецкая губерния — административная единица Российской Империи, занимала территорию вокруг Онежского озера, граничила с Архангельской, Вологодской, Новгородской, Петербургской губерниями и с Финляндией.

Мужик молча показал пальцем на повозку. Мальчик сначала только посмотрел по указанному направлению, но спустя немного он отогнул закидку и заглянул в повозку. Там сидела женщина, одетая в тулуп. На руках у неё лежал крошечный ребенок. Девочка лет пяти и мальчик лет четырёх сидели у неё в ногах, прижавшись крепко друг к другу. Лица их были бледные и худые.

— Бедные! Им есть нечего!— проговорил мальчик, закрывая повозку, и на его глазах навернулись слезы.

— Послушай, дядя! Что же вы ели дорогой? — спросил мальчик, поравнявшись с крестьянином.

— А просили в деревнях. На первое время кое-что было... Приходилось и голодать.

— А дети-то как же? Они есть ведь хотят!..— воскликнул мальчик.

— Мало ль что хотят! Нету, так что же станешь есть?

— А как умрут они?

— У меня дорогой и то умер сынишка... — крестьянин по-видимому сказал это очень хладнокровно. Но если бы мальчик в это время взглянул на него, то увидел бы, что крупная слеза выкатилась из его глаз и омочила морщинистое лицо. Но мальчик не видел этого. Он доставал из кармана булку, которую и пропихнул через отверстие в повозку...

Доехали до полиции. Мальчик простился с каргопольцем и пошёл в школу. Всю дорогу, весь класс думал он о бедняках.

Через три дня, за вечерним чаем, Коля (так звали мальчика) со вниманием слушал отца, который рассказывал своей матери, Колиной бабушке, о каргопольцах, приехавших в город.

— Что они будут делать здесь?— спросила бабушка.

— Я думаю, что им придётся опять уехать домой...— отвечал отец Коли.

Напившись чаю, Коля ушёл в свою комнату и задумался о бедняках. Ему было очень жаль их... Долго сидел он

в раздумье на стуле, наконец, улыбка засияла на его лице, и, весь полный радости, он зашагал по комнате. Через несколько минут он сел опять на стул и принялся за уроки.

На другой день он ранее обыкновенного отправился в школу. Придя в училище, он вынул из сумки лист бумаги и вместе с карандашом положил её на учительский стол...

Когда собрались все ученики, Коля обратился к ним и рассказал всё, что знал о каргопольцах. Лицо его горело, глаза блестели...

— Дадим им что-нибудь, господа, — заключил он свой рассказ. — Они так бедны... Нас шестьдесят человек... Дадим им хотя по 10 копеек с брата...

Все отозвались сочувственно на воззвание своего товарища, но нашлись только между учениками такие, которым было трудно уделить и 10 копеек.

— Мне дают только по две копейки на завтрак, и я не могу дать к завтра более двух копеек, — отозвался один мальчик грустно.

— Ну что ж, пусть даст всякий, сколько в силах, а зато, кто может, пусть и из одежды прихватит! — сказал Коля.

— Да, да! Пусть, кто может, захватит и из платья! — раздалось несколько голосов.

Так как была суббота, а помочь все желали как можно скорее, то и было решено, что назавтра, то есть в воскресенье, все явятся со взносами к одному товарищу, Михайлову, другу Коли.

В воскресенье, часов в десять, около пятидесяти человек собрались у Михайлова. Кто не мог прийти, отдал свой взнос товарищу. Когда Коля сосчитал все собранные деньги, то их оказалось четыре рубля. Сверх этого нанесли много вещей. Кто принес сапоги, кто шапку, кто брюки. Всё это связали в узел, положили на салазки, и Коля, Михайлов да ещё двое мальчиков отправились на двор, где стояли каргопольцы. При самом входе в ворота постоянного двора мальчики встретились с одним каргопольцем. Это был знакомый Коли.

— А, здорово, малец! — воскликнул он.

Мальчики раскланялись.

— Вот, возьми, отдай это своим... Тут всем вам, — проговорил Коля, подавая каргопольцу деньги и узел платья.

— Что это, кому? Вы... — начал было крестьянин, но мальчики не слышали этого. Они бегом уже бежали по улице.

Через несколько времени устроилась в городе подписка в пользу каргопольцев, на нужду которых отозвались первыми дети приходского училища.



ПОМОГИ!

Тиме Колзакову опять пришлось дожидаться конки. Он остановился у рельсового пути, близ остановки.

«Какая досада,— подумал Тима,— ведь и опоздал-то на какие-нибудь две минуты, конка сейчас только прошла. Вчера как хорошо: вышел из переулка — конка уже тут. А теперь жди. Положим, к уроку успею, времени ещё достаточно, но всё-таки неприятно ждать. Сесть, что ли, на скамейку у ворот этого каменного дома?»

Тима повернулся и увидел, что на скамейке, которая была встроена в нишу калитки, сидел какой-то старик, одетый в короткое пальто. Одна из ног его была короче другой. Ноги обуты в валенки. Около старика лежали костыли.

Тима узнал в сидевшем старика, которого уже несколько раз встречал на улице и однажды даже поднял выпавший у него костыль. Но Тима никогда не разговаривал с ним. В тот день, когда он поднял костыль, старик промолвил тихим, немного глухим голосом: «Спасибо вам. Храни вас Господь!» Тима ничего тогда не ответил, торопясь вскочить в вагон.

Сегодня, подойдя к старику, мальчик поклонился ему и произнёс:

— Здравствуйте!

— Добрый день, родной! — ответил старик.

Тима обратил внимание на его измождённое лицо.

«Он, должно быть, болен!» — подумал мальчик, садясь на скамейку. И сказал, обращаясь к старику:

— Вы нездоровы?

— Да, плохо моё здоровье,— ответил старик, откашливаясь.— Одышка мучит, ревматизм в ногах. И без того калека, а тут ещё болезнь... Ну, в такую-то сырую, холодную погоду и донимает она меня.

Конка — общественный вид транспорта, городская железная дорога, на которой в качестве тягловой силы использовались лошади.

— А вы куда же ходите всё? Я часто встречаю вас...— спросил Тима.

— На работу хожу, родной. Надо же кормиться, не милостыней же мне жить: на ноги калека, болен, а всё же руками могу кое-что делать... Грешно милостыню просить. Нужно трудиться, сколько Бог даст.

Он опять закашлялся.

Тиме хотелось поподробнее расспросить старика, но из-за угла показалась конка. Мальчик поклонился старику и, соскочив с лавочки, поспешил навстречу подходившему вагону. Он был почти пустой. Мальчик сел на диван у самой двери и стал размышлять о старике, который продолжал сидеть на скамейке у калитки. Отдавая деньги кондуктору, Тима подумал: «Отчего старик не ездит на конке? Не по пути ему или у него нет денег? Вероятно, последнее».

Тиме стало жалко старика и стыдно, что тот — больной, калека — плетётся пешком, а он, здоровый и крепкий мальчик, ездит на конке. И отчего он, Тима, никогда не поинтересовался этим вопросом, да и сегодня не предложил ему денег на конку? Каждый день он получает гривенник на проезд и четвертак на завтрак. Он покупает себе булки, сыр или ветчины и фруктов. Конечно, ему надо завтракать, но какой-нибудь пятак можно уделить... А если хорошая погода, отчего ему не пройтись пешком?

Тима вдруг вспомнил слова старика: «Грешно побираться». И с некоторым облегчением сказал сам себе: «Это ещё вопрос — возьмёт ли он деньги. Он не нищий».

Голос совести возразил на это: «Ты лукавишь и хочешь оправдаться, и перетолковываешь его слова в свою пользу. При чём тут милостыня? Эта помощь не могла бы его обидеть, и от неё он не отказался бы. Но ты и не думал о нём. Ты видел, как он однажды в дождь ковылял по скользкой

Гривенник — десятикопеечная монета.

Четвертак — полуполтина, двадцатипятикопеечная монета.

панели, а ты важно ехал в вагоне, да ещё защищённый непромокаемым плащом. Разве ты о нём подумал?»

Тима не знал, что ответить на этот внутренний голос.

Ему стало неловко, даже тяжело. Уже сойдя с конки, в нескольких шагах от гимназии, Тима успокоил себя мыслью: «Как встречу с ним опять — непременно расспрошу подробно».

С этим решением мальчик пошёл в гимназический подъезд.

II

У Колзаковых часто обедал отставной учитель Савелий Иванович Тишин, которого многие звали чудаком за его привычку всем говорить правду. Кроме того, он имел обыкновение мало обращать внимания на свой костюм.

— Сколько лет вашему сюртуку? — спросил однажды кто-то у Тишина.

— Немножко меньше, чем мне, — ответил с улыбкой учитель, как бы не замечая иронии. — Э, батенька, — добавил он, — было бы тело прикрыто, в мои годы да щеголять — вороны засмеют. Да я и в молодости не любил щеголять. Есть посерьёзнее дело, чем о таких пустяках думать!

Тишин был добряк и половину пенсии тратил на бедных, с особенной любовью помогая детям.

— Надо, надо, — говорил он. — Кто знает, может быть, из другого и Ломоносов выйдет.

Он сопровождал эту фразу доброй улыбкой, которая так украшала его широкое лицо, обрамлённое седыми баками и длинной густой бородой — просто загляденье!

Тишин любил Тиму, и мальчик платил ему тем же. Когда Тима вернулся из гимназии, Тишин уже сидел в столовой и разговаривал с Надеждой Осиповной, матерью Тимы. Скоро пришёл со службы отец, Сергей Уварович Колзаков, и все

сели обедать. Тишин сегодня был в особенно хорошем настроении и много говорил.

— Ты не именинник сегодня, Савелий Иванович? — шутливо спросил хозяин.

— А пожалуй, и так, — ответил Тишин, — сегодня мне удалось устроить Сеню. Помнишь внука Дарьи? Ну вот, я его пристроил к Баринову, мальчик теперь на дороге, и Дарья успокоится.

— Ты всегда чего-нибудь устраиваешь! О ком-нибудь хлопочешь.

— Что же мне делать? Не о себе же хлопотать: я, слава богу, устроен. Вот скоро и в особнячок свой вечный перейду! Место на кладбище готово.

— Рано ещё тебе.

— А что же: скоро семьдесят! Пора. Впрочем, я не рвусь туда, на всё воля Божья!

Тишин заметил устремлённый на себя пристальный взгляд Тимы и промолвил:

— Что, будущий гражданин? Как твои дела? Или, как говаривал мой отец, чему служишь: добру иль злу?

— Как я могу служить? Я учусь, чему меня учат, — ответил Тима.

— Хорошо сказано. И учись, чтобы потом других учить либо им служить знанием. Но всё же, и учась, будучи ещё совсем юношей, можешь служить и добру, и злу.

— Как это?

— Делай добро, где и как можно. Не надо быть непременно богатым или знатным. Надо только любить добро и ближнего. Ты имеешь, например, карманные деньги?

— Имею.

— Поделись с тем, кто не имеет. Ты знаешь, а твой товарищ не знает — объясни ему. Я вот на днях такую сцену видел: сидит девочка и гладит кошку. А кошечка дохлая, совсем умирает. Я спрашиваю девочку: «Что ты делаешь?» Она и говорит: «Киска больна, я её ласкаю, чтобы ей было

веселее». Я говорю: «Киску надо лечить». А девочка мне на это: «Я не умею лечить, а мне её жаль, я её и утешаю». Вот, брат, как сердце подсказывает: не может лечить, делает, что может — утешает её. Ты только пожелай, а добра много можно делать. Пожалуй, и двадцати четырёх часов в сутки не хватит.

Тима помолчал и промолвил:

— Ну вот, девочка утешила кошку, но от смерти её не спасла, а лекарства могли бы спасти. Да разве одна такая кошка?

— А, ты вот о чём! — с улыбкой произнёс Тишин. — Ну, брат, не всем дано по широким рекам плавать, поплавай по ручью. Научись в нём плавать, а потом и стремись в море. И то если силы хватит, а иначе сам потонешь, да другим пользы не принесёшь. Учись лечить, а хорошо и утешить, если другим помочь нельзя. Помогай, что в твоих силах. Не всем поможешь, так ведь не ты один в мире. А ты не смущайся малым, если на большее не хватает сил: тем более, часто малое таким большим может оказаться. Всякому своё дело дано от Бога, и если бы каждый своё дело делал по совести, как бы на свете хорошо жилось! Знал я одну женщину простую, грошами помогала от сердца, с любовью. Так о ней и теперь весь город помнит, а она тридцать лет тому назад умерла. Не забывай: кто был в малом верен, только тому доверят большее. А иному так и не доверят, потому что он на большое и не способен. Так что, по-твоему, ему вообще ничего не делать? Вот ты пока ещё на большое-то пригодишься, так неужели и малого не делать? Нет, брат, делай что можно!

Тишин добродушно засмеялся.

Тиме хотелось рассказать о хромом старике, но он удержался, решив про себя: «Всё расспрошу у него при первой же встрече».

Уходя домой и прощаясь с Тимой, Тишин сказал ему:

— Так как же, брат, будешь в малом-то верен? А?

— Буду,— серьезно ответил Тима.

— Вот и ладно, а там, глядишь, и на большое пригодишься.

III

Словно нарочно, больше недели Тима не встречал старика. Мальчик начал волноваться.

«Наверное, он заболел... может, нуждается, а помочь невозможно, я не знаю, где он живёт».

Тима мучился, чувствуя себя виноватым.

И вдруг встретил старика. Он обрадовался и побежал ему навстречу, не обращая внимания на подхотившую конку.

Старик тоже узнал мальчика и улыбнулся в ответ на его поклон.

— Отчего вас давно не видно? — спросил Тима.

— Не встречались никак!

— А вы не были больны?

— И прихворнул немного, много ли мне надо: года немалые, хворый, прохватит — и занемог.

— Отчего вы не ездите на конке? — продолжал спрашивать Тима.

Старик улыбнулся.

— Эх, родной,— произнёс он, тяжело дыша, как все сильно простуженные люди, — да ведь конка-то не даром возит: туда пяточок, назад пяточок — и выходит гривенник. В месяц-то все три рубля, из моего заработка это слишком много; почитай, всё и проездишь.

— Но вам трудно ходить.

— Мало ли чего, все бы охотно в коляску сели, да не дано, стало быть, в коляске ездить, ну и ходи.

— А вы где живёте?

— Вблизи Троицы, родной. Знаешь Троицкую церковь? Отсюда недалеко.

— Знаю.

— Ну вот. Домишко маленький, от старины остался, скоро на слом пойдёт.

— А как вас зовут? — спросил мальчик, осмелев.

Старик посмотрел на Тиму.

— Зовут-то как? А зачем тебе знать?

— Я хотел бы знать.

Подходила уже вторая конка. Тима боялся опоздать в гимназию.

— Вот вам на конку, — поспешно проговорил он. Достав из кармана серебряный рубль, он сунул его в руку старика.

Конка была уже в двух шагах.

Тима бросился к вагону. Старик снял шапку, поклонился и проводил глазами уходившую конку.

У Тимы стало легче на душе. Сидя в вагоне, он думал: «Теперь ему можно ехать, а я назад пойду пешком, это полезно. Но как старика зовут? Может быть, я опять долго не увижу его, он издержит целковый. Маленький дом у Троицы. В это же воскресенье пойду разыскивать. Надо посмотреть, как он живёт».

IV

В первое же воскресенье Тима Колзаков отправился разыскивать старика.

Отстояв обедню в Никольском храме, пошёл к церкви Троицы. Но вблизи неё оказались три домика, и все маленькие.

«В котором же из них живёт старик? — раздумывал Тима, останавливаясь в нерешительности перед одним домишком. — И как спросить?»

В эту минуту из калитки вышла женщина с узлом.

— Послушайте, — окликнул её Тима, — вы из этого дома?

— Здешняя, а что вам?
— Ведь вы не одни здесь живете? Кто ещё?
— А вам кого?
— Я не знаю фамилии, он старик.
— Не один здесь и старик. Вахрамеев живёт, ему уж, поди, за шестьдесят!
— Он на костылях?
— Нет, на костылях, кажется, и нет у нас.
— А в тех домах?
— Не знаю. Да чей дом-то вам сказали?
— Я и дома не знаю. Он сказал, что у Троицы.
— Это Троицкая церковь. Всё же надо хоть дом-то знать.
— Маленький, его скоро сносить будут.
— Сносить? Не знаю. Да это не Переухиной ли? Он дряхлый. Так он в переулке, там всё нищета ютится. Может быть, там и ваш старик на костылях живёт. Идите туда, дойдёте до зелёного дома, повернёте вправо, второй дом и будет Переухиной.

Тима вошёл в переулок и сразу увидел дом Переухиной.

В переулке царила тишина. Калитка дома оказалась запертой. Тима несмело постучал. Никто не отозвался. Мальчик постучал опять, сильно брякая железным кольцом.

В окне, которое доходило почти до земли, открылась форточка, и в ней показалась всклокоченная голова.

— Что тебе надо? — слышался низкий, грубоватый голос.

— Старик на костылях здесь живёт?

— Тебе Терентия, что ли?

— Я не знаю, как его зовут. У него одна нога короче.

— Терентий и есть. Он во дворе. Погоди, я открою калитку.

Форточка захлопнулась.

Через минуту за воротами слышались тяжёлые шаги, щёлкнула задвижка, и калитка на цепи приотворилась.

— Проходи. Тебе зачем Терентия-то?

Мужик, в валенках на босую ногу и в тулупе внакидку, пытливо посмотрел на Тиму.

— Надо,— коротко ответил Тима.

— Иди прямо, в тот флигель маленький. Спустись по ступенькам да и нащупывай дверь, по правую руку шарь.

— А дома он? — спросил Тима.

— Должно быть, не выходил. Он, кажется, не больно здоров и на работу-то будто эти дни не ходил.

— Он один живёт?

Но мужик ничего не ответил и, махнув рукой, стал спускаться в подвал.

Тима сделал так, как сказал мужик: прошёл весь двор, спустился по грязной лестнице, и попав в тёмные сени, начал шарить по правую руку. Ощупав дверь, мальчик потянул её на себя; на него пахнуло сыростью и тяжёлым воздухом тесного жилья. Удушливый запах, что называется, ударил его в нос, но Тима храбро вошёл в полутёмную комнату, перегороженную дощатой стенкой.

— Кто там? — раздался глухой голос, по которому Тима сразу узнал Терентия.

— Это я, дедушка Терентий,— ответил Тима, которому показалось неловким назвать старика просто Терентием, и он прибавил «дедушка».

— Кто «я»? Отвори дверцу да проходи сюда, я лежу, нога-то повязана.

За перегородкой, на сундуке, покрытом каким-то тряпьем, лежал Терентий. В маленькое, низкое окно едва проникал с улицы свет.

— Э, да как ты отыскал меня? — промолвил старик, узнав Тиму.— Ну и смыслённый же ты, коли без имени нашёл меня.

— Я долго искал.

— Диво ли,— улыбаясь, произнёс Терентий,— деревня-то не маленькая, хе! Ах ты, родной! Ну и спасибо ж тебе

за твой целковый. Ты на конку дал, а пошёл он на лекарство. Зашибся я в тот самый день, ногу зашиб, два дня и ходить не мог. Теперь брожу, а всё же натираю; сегодня ночью так разнылась, что просто беда. Садись, родной. Один я. Танька — внученька моя — к Лизавете ушла, попросить воды крещенской: своя-то вся вышла. И мазь добрая, а вода ещё нужнее, потому святая.

— Вы только с внучкой и живёте? — спросил Тима.

— Внук ещё с нами, Колька. Убежал, с ребятами играет. Мал ещё, скучно ему со мной.

Старик улыбнулся, качнул головой и продолжал:

— И хитрый же парень: так-то уйти стыдно, стесняется оставить меня. «Я,— говорит, — деда, на минутку схожу, надо». А как вышел, и поминай как звали. Кхе, кхе!

Старик закашлялся.

Тима был поражён обстановкой. Такой нужды, такой нищенской обстановки он ещё никогда не видел. Когда он огляделся и стал всё различать в этой полутёмной яме (Тима так мысленно назвал комнату), то увидел, что в конуре почти не было мебели: кроме сундука, на котором лежал старик, стояла ещё какая-то убогая кровать, с поленом вместо четвертой ножки, белый деревянный стул и небольшой стол у окна — вот и вся мебель.

— Как же вы тут живёте, дедушка Терентий? — промолвил Тима.

— Так и живём вот. Да как ты моё имя-то узнал: у кого допытался?

— Мне мужик сказал, он живёт в подвале, должно быть, такой кудлатый.

— Э-э, так это, надо полагать, Василий-полотёр... Он сказал? Так, так... Ты говоришь: как живём? А вот видишь, как. Всякий так живёт, как Бог назначит, против Его воли не пойдёшь: бедно у нас, да и то слава богу, что по миру

Полотёр — работник, натирающий полы.

не приходится ходить. Спасибо и Петру Максимычу: даёт работу, хожу клею мешки. Всё же добыча. И добрый: занемому — не вычитает, а у иного сейчас и вычтет.

— А сколько же он платит?

— Пятиалтынный в день.

— Немного.

— А чего моя работа стоит?

— Но на эти деньги не прожить всем вам?

— Ну, это как жить. У меня ведь обед готовый, это возьми в счёт. Пётр Максимыч хорошо кормит: похлёбка, хлеба вдоволь.

— А внуки?

— Вот на добычу мою и кормятся. Ну, когда добрые люди помогут: Лизавета, прачка, любит их и сунет то того, то другого. У бедных Бог опекун.

— А они не учатся?

— Ребятишки-то мои? Колька ещё мал, куда ему!

— А Таня?

— Она-то хотела бы, да где ж? Надо за братишкой смотреть, ну и одежонку надо иметь пристойную; не по силам мне это, родной.

— А если бы возможность была, то училась бы Таня? — промолвил Тима.

— Чего ж не учиться, ученье — добро, недаром говорят: ученье — свет, а неученье — тьма.

— И вы, значит, тогда отдали бы Таню?

— Чего ж не отдать, отдал бы. Кто враг себе? Понимаю ведь, что ей грамота полезна, да при такой бедности где же!

Тима помолчал и промолвил вслух, но сам себе:

— Это надо устроить.

— Нелегкое дело, родной,— сказал Терентий, разобрав фразу Тимы.

— Я не могу, но другие могут,— ответил Тима.

Пятиалтынный — пятнадцатикопеечная монета.

— А Кольку куда ж? Родной, не всем быть учёными. Не избаловалась бы только девчонка, и ладно. Пожить бы мне Бог дал ещё, а то...

Он не кончил и глубоко вздохнул.

Тима простился с Терентием и обещал зайти снова.

— Я принесу вам денег,— сказал он.

— Ну, полно, родной, спасибо и на тех. Бог терпит грехам, подрабатываю.

Тима вышел из подвала с твёрдым желанием помочь старику и устроить учение Тани.

V

Когда мальчик вышел из переулка, на него почти наткнулась бежавшая девочка лет десяти. По щекам её текли слёзы, платок сбился с головы.

Наткнувшись на Тиму, девочка чуть не упала, поскользнувшись. Тима подхватил её. Она как будто ещё больше испугалась и хотела вырваться из его рук.

— Чего ты? О чём плачешь? — спросил Тима.

Девочка ничего не ответила.

В это время показались бегущие мальчишки. Они что-то кричали. Их было трое.

Девочка рванулась изо всех сил, но Тима всё-таки удержал её.

— Пусти, пусти! — плача, воскликнула девочка.

— Ты не бойся меня! — Тима понял, в чём дело, и продолжал: — Они за тобой гонятся? Вот я им задам!

Тима выступил вперёд, заслоняя собою девочку, и крикнул приближавшимся мальчишкам:

— Зачем вы её обижаете?

— А тебе что за дело? — ответил самый старший. — Разве она твоя сестра?

— Не сестра, но это всё равно, нельзя обижать тех, кто слабее тебя, да ещё девочку, как вам не стыдно!

— А ты что за начальник? Вот мы и тебя-то самого вздуем, узнаешь, как заступаться за девчонок!

— Ах вы!..

Тима ещё не успел кончить, как на него стремительно наскочили все трое и чей-то кулак опустился на его плечо. Удар был не очень сильный, хотя и чувствительный. Тима устоял и, крикнув девочке: «Беги!», вступил в бой.

— Догоняй Таньку, Митька! — крикнул старший из мальчишек.

Но Тима загородил путь и ловким движением руки отбросил Митьку, который не устоял и полетел в канаву.

— А, ты вот как?!

Старший из мальчишек схватил Тиму за ворот пальто и хотел свалить противника через подставленную ногу.

Но Тима был ловок и достаточно силён. Он чуть-чуть пошатнулся, но устоял. Пострадал только воротник, который полуоторвался по сшитому месту, да отлетели две пуговицы.

Третий мальчишка, увидев поражение Митьки и получив чувствительный отпор своему удару, струсил и пустился бежать.

— Егорка! Егорка! Куда ты, заяц? — крикнул с досадой старший.

Но «заяц» улепётывал, не слушая оклика товарища.

Тот обозлился и, подставляя локоть для отпора удара Тимы, крикнул вдогонку:

— Ну, задам же я тебе, заяц трусливый! По...

Он не договорил и полетел в ту же канаву, из которой только что выбрался Митька. Последний не был похож на Егорку: он не побежал, а снова храбро набросился на Тиму.

— Хорошенько, Митька! — крикнул старший, вылезая из канавы.

Через минуту Тиме опять пришлось бы иметь дело с обоими противниками, и неизвестно ещё, на чьей стороне

оказалась бы победа. Но у него неожиданно явился союзник, который одним своим появлением обратил в бегство обоих храбрых бойцов.

Это был Савелий Иванович Тишин.

VI

— Это что такое? Мой дорогой! За что это ты ратоборствуешь? — промолвил Тишин, оглядывая Тиму, который невольно смутился при виде старого учителя.

Тима не сразу ответил на вопрос Тишина. А учитель продолжал:

— Э-э, да ты и пострадал порядком: смотри-ка, как тебя обработали твои враги — и воротник висит, да и на щеке отметины. Что это за бой? Чего ради?

Мальчик уже оправился от смущения и ответил:

— Они напали на маленькую девочку, я заступился, вот.

— И грянул бой, Полтавский бой? — засмеявшись, закончил Тишин. — Так-так!

— Но её побили бы! — в оправдание произнёс Тима. — Я не смог бы по-хорошему.

— Слов не понимают?

— Да! — уже смело ответил мальчик.

Тишин потрепал его по плечу и сказал:

— Это похвально, что заступился, нельзя позволять обижать. Верно, мой милый. Ну, а если бы тебя побили?

— Ещё вопрос — побили бы или я бы побил! — горделиво воскликнул Тима.

— Всяко бывает, мой друг.

Ратоборствовать — воевать.

И грянул бой, Полтавский бой — цитата из поэмы А. С. Пушкина «Полтава».

— Ну, что же,— пожимая плечами, возразил Тима.— Неважно, а всё-таки девочку выручил!

— А если бы и её не защитил, и сам пострадал? Могло случиться?

Тишин пытливо глядел на Тиму.

Мальчик помолчал и воскликнул, улыбаясь:

— Я сделал бы то, что можно, а там...

Учитель засмеялся.

— Вот молодец! — произнёс Тишин, снова похлопав по плечу Тиму.— Ты хорошо держишь слово. Я рад, что случайно пришёл на выручку и невольно сделал то, что мог: напугал мальчуганов, и они удрали. Хе-хе!

Тишин с любовью посмотрел на Тиму и произнёс:

— А чья девочка?

— Не знаю.

— Да зачем ты-то сюда попал? От товарища?

Тима опять смутился на минуту.

— Нет, я... я...

И вдруг улыбка озарила его лицо.

— Савелий Иванович! — воскликнул Тима.— Всякий должен делать то, что он может?

— Да.

— Вы это говорили, помните, у нас?

— Помню, помню. И ты обещался.

— Да, и я сдержал слово.

— Вижу, друг мой, вижу.

— Нет, Савелий Иванович, это не то! — перебил Тима.

— Как не то? — удивлённо спросил Тишин.

— Не то.

Тима подумал и заговорил:

— Вы спросили меня, откуда я иду. Хорошо, я скажу: я иду из ямы.

— Как из ямы? — с изумлением промолвил учитель.— Пойдём, дорогой, что же мы стоим-то, мне надо не опоздать на обед к приятелю.

— А вам нельзя на минуту зайти в яму?

— Да что такое ты говоришь? Не понимаю.

Пройдя несколько шагов, они снова остановились.

— Я,— начал Тима,— сделал то, что мог, а теперь сделайте вы, что можете.

— Я? Ну, а яма-то при чём?

— Чтобы сделать, надо побывать в яме. Иначе — в подвале.

— Да ты притчами изъясняешься! В подвале? Стало быть, надо помочь кому-нибудь? Да?

— Да.

— Что же, я готов. Сейчас я спешу, а ты мне расскажи, я схожу.

— Да это отсюда в трёх шагах, Савелий Иванович: я вам покажу дом, а вы потом и сходите.

— Ну что же, так можно. Погоди, погоди!

Тишин полез в карман. Вынув кошелёк, он достал три рубля и промолвил:

— Я ничего ещё не знаю, кому и что нужно, но тебе я верю. Вот дай три рубля там. Покажи мне дом и дорогой всё мне объясни... Или нет: зайди лучше завтра ко мне и подробно расскажи всё... А теперь покажи дом.

У ворот дома Первухиной они увидели девочку.

— Вот я за неё заступился,— сказал Тима.

— Ты чья? — спросил он у девочки.

— Терентия,— ответила она и вдруг, словно испугавшись чего-то, убежала во двор.

— Это из ямы,— сказал Тима.

Он не мог удержаться и кратко познакомил Тишина с Терентием, рассказав о своих встречах с ним. Прощаясь с Тимой, Тишин промолвил:

— Ты прав, мой друг,— ты сделал то, что мог, а теперь моя очередь, да и не моя только, а всех, кто может сделать больше тебя. Мы отца твоего и ещё одного благодетеля попросим. Тебе честь и хвала, что слово держишь крепко.

И Тишин пожал Тиме руку, как взрослому.

VII

Проводив Тишина до той улицы, где учителю надо было садиться в конку, Тима вернулся назад в переулок, чтобы вручить деньги Терентию. Он не хотел оставлять это до другого посещения, думая, что три рубля пригодятся старику на лечение.

Тима опять встретил девочку у ворот, и она провела его к дедушке.

Старик был растроган заботой мальчика и его заступничеством за Таню.

— Золотое у тебя сердце, родной,— произнёс со слезами на глазах Терентий.— Пошли тебе Господь счастье. Смотри-ка: и пальто тебе порвали. За сироту заступился, родной мой.

Тима подал Терентию три рубля.

— Родной мой, да зачем же: ты дал тогда, довольно.

— Эти не мои, это от Савелия Ивановича; он похлопочет и о том, чтобы Таня могла учиться.

— Ах... ты... милый мой. Ах вы мои добрые. Слышишь, Танюшка: учиться хочешь?

— Хочу! — радостно ответила девочка.

— Ну, вот.

Тима в самом светлом настроении возвращался домой. Разорванный воротник пальто не тревожил его. «Что воротник? Пустяки! Это легко поправить, а зато...»

Придя домой, Тима всё рассказал отцу, который одобрил поступок сына и отнёсся сочувственно к его мечтам, но заметил:

— А всё же мама не будет довольна тем, что ты порвал пальто, она — не я и не любит, чтобы ты дрался. Ведь Таню только бы попугали, наверное.

— Едва ли, но это меня не касается, папа.

К удивлению мужа, Надежда Осиповна взглянула на дело не так, как он думал: она одобрила поступок сына и сказала:

— Конечно, надо беречь себя, но ты же не предполагал, что такая драка случится, а нельзя было не защитить девочку, ты поступил хорошо.

Тима был рад.

Он подбежал к матери и поцеловал её.

Ещё больше он обрадовался, когда отец сказал:

— И я приму участие. Савелий Иванович прав: всякий должен делать, что может. Ты начал, а мы завершим.

Прошло около месяца. В одно из воскресений пришёл Тишин к Колзаковым и, призвав Тиму из его комнаты, объявил:

— Ну, друг мой, всё улажено: и старик твой устроен, и его ребятишки. Только и я не мог один сделать, что нужно, я обратился за помощью к тому, кто сильнее меня и твоего отца.

— Что же с ними теперь? — спросила мама Колзакова.

— Старика в богадельню, а ребят в приют, который рядом, чего лучше!

— Конечно,— согласилась Надежда Осиповна.

— Да,— продолжал Тишин, обращаясь опять к Тиме,— так и вышло: ты мог одно сделать и сделал, я — своё, твой отец — своё... Все своё исполнили. А не исполни ты своего, пропусти, и никто бы ничего не сделал. Так и случается часто — и это очень плохо. А надо так, чтобы всякий делал то, что может, и призывал других помочь.

Учитель похлопал по плечу Тиму и добавил:

— Вот и будем все вместе делать дело Божие!



В КАНУН СОЧЕЛЬНИКА

Вечер стоял прекрасный. Погода была свежая, бодрая, но не такая холодная, что «боязно нос высунуть». Небо тёмно-синее, чистое, всё звёздочками усеяно, а звёздочки так и мигают в безбрежной высоте, точно улыбаются оттуда. Снег, как белую скатертью, обтянул все улицы. Идешь — под ногами хрустит. И что-то праздничное, бодрящее разлито в воздухе, будто не только люди, но и вся природа напряжённо и нетерпеливо ждёт Рождества. Улицы против обыкновения людны, во всём городе оживлённо, потому что открылась мясная ярмарка и продажа ёлок, разных украшений и игрушек в балаганах уже началась. Из уезда много народу наехало: кто за покупками, кто за детьми, чтобы взять их на святки домой... Движение, шум, говор даже там, где в обыкновенное время царит полная тишина. Сани то и дело проносились мимо нас, со свистом прорезывая снег полозьями и обдавая нас изредка комьями снега. От лошадей пар валил... Нам было весело, шутя и болтая, бежали мы по Козлёнской улице.

— А того-то медведя надо купить непременно! — заявил вдруг Петя.

Мы уже заранее ходили на рынок — приглядеться и прицениться; теперь шли мы, чтобы покончить дело с покупками.

— Какого медведя? — спросил я.

— А что в балагане Волкова... на дыбы встал, неужели забыл?

— А-а... помню!

Вечер стоял прекрасный. — Время действия рассказа — вечер накануне Рождества, рождественский сочельник.

Балаган — временная деревянная постройка для торговли.

Святки — двенадцать праздничных дней между Рождеством (7 января) и Крещением (19 января).

— Надо купить!
— Медведь хороший... только...
— Что?
— Дорог ведь он, Петя!
— Что за важность! Нынешний год — не прошедший: есть на что!

— Так-то так... да ведь не один медведь!
— Знаю, что не один... так что же?
— Хватит ли?
— Вот ещё выдумал... Давай сочтём... Свечей...
И мы, бежа вприпрыжку, начали снова делать умственные выкладки.

Вдруг в воздухе пронёсся резкий свисток локомотива. Я невольно вздрогнул.
— Что ты? — рассмеялся Петя.— Ведь это машина...
Вагоны собирает к поезду.

— Разве уж семь скоро?
— Да как же? Мы в шесть вышли!
Вокзал железной дороги находился в стороне, в нескольких саженях от нас.

— А ведь сейчас Володя Козырев уезжает! — произнес я в виде замечания.

— Говорил разве тебе?
— Говорил... Я видел его вчера.
— Давай забежим? — предложил Петя.
— Зачем?
— Да так... Володьку проводим...
— Успеем ли?
— Ещё бы! Рынок до десяти открыт...

Я согласился, и мы свернули в переулочек, который вёл прямо к вокзалу.

Народу было довольно много, так как крестьяне, служащие в городе, спешили на праздники домой. Локомотив,

Сажень — мера длины, равная 2,1 м.

маневрируя, бегал по рельсам, прицепляя один за другим небольшие вагоны. Раздавались резкие свистки, чугунное чудовище пыхтело, выпуская клубы пара, которые эффектно расплывались в воздухе. Мы везде искали отъезжающего товарища, но не могли его найти. Между тем пробил уже первый звонок.

— Да где же он? — недоумевали мы, ходя по платформе.

— Верно, уж уехал, — решил Воронцов.

— Да когда же?

— Вчера, видно!

— Поздно было...

— Ну, завтра... Далеко ли ему ехать?

— Батюшки мои! Родимые! Ох, беда-бедёшенька! — вдруг точно вырвался откуда-то болезненный крик, выделившись отчётливо среди общего говора и гама, царивших на платформе.

— Что это? — вопросительно посмотрели мы с Петей друг на друга.

И мы бросились туда, где уже собралась небольшая кучка людей.

— Батюшки мои! Сердешные! Что же мне теперь делать-то?

Какая-то старуха в нагольном полушубке, в поношенном платке на голове сидела на холодных плитах платформы и рыдала.

— Что ты реवेशь? Что такое случилось? — спрашивали её.

— Ох, батюшки! Тошнёхонько мне... Помрёт он теперь... не видючись со мной, помрёт...

— Да что у тебя?.. Эй, бабка, слышь: что случилось? — обратился к ней жандарм, протискиваясь сквозь толпу.

— Билет, родненький, билет...

— Что — билет? Утеряла?

Нагольный полушубок — полушубок, не обшитый материей, кожей наружу.

— То-то и есть, милые мои... утеряла...

— Да ты поищи хорошенько!

— Искала уж, касатик, сбилась искамши... да нетути!..

Что мне теперь делать-то?

— Без билета нельзя! Оставаться придётся!

— Ну, ничего, в городе веселее,— пошутил кто-то, но сейчас же, поняв всю непристойность шутки, юркнул в толпу и скрылся.

— Ох, горе мое лютое!.. Умрёт он теперь... умрёт! — рыдала баба.

— Кто умрёт?

— Сыночек мой, сыночек, болезные!

— Отчего умрёт?.. Болен он разве?

— Дюжо болен... дюжо... Грамотку получила... Без надеждушки болен... И деньги-то я у чужих людей заняла, хоть последние-то минуточки захвачу, думала... увижу его... А што теперь мне?

И она в отчаянии упала лицом на холодные камни.

— Экая беда! — пожалел кто-то из толпы.

— Внимательней надо быть... не так,— посоветовал солидный господин в енотовой шубе.

— Жалко бедную, жалко! — покачал головою купец и отошёл в сторону.

— А ты далеко едешь, бабушка? — вдруг обратился к лежавшей старухе Петя.

Он всё время стоял сосредоточенный и несколько бледный. Его, видимо, взволновало горе старухи. Он и теперь говорил не совсем твёрдым голосом.

— Далеко ли едешь? — повторил он снова, толкнув старуху, которая ничего не ответила на его первый вопрос.

— До Н-ой станции, кормилец! — произнесла она, не подымая головы.— До Н-ой станции...

— Далеко это?

— Далеко, далеко...

Рыдания душили её.

Петя посмотрел на меня.

Я понял его взгляд. Мне и самому было глубоко жаль бедной старухи...

— Далеко ведь,— шёпотом произнес я, желая помочь и в то же время чувствуя, что дать надо много, пожалуй... всё!

— Сын умирает... Неужели, Саша, тебе...

Я вспыхнул и поспешно ответил приятелю:

— Нисколько...

— Тогда...

Он не кончил и бросился бегом в вокзал. Я последовал за ним и догнал его уже у кассы. Все деньги были у него.

— Что стоит до Н-ой станции? — дрожащим голосом промолвил Петя, подходя к оконцу кассы.

— Которого класса?

— Третьего!

— Пять рублей сорок!

Петя молчал секунду, видимо, ещё колеблясь.

— Дайте! — произнёс он громче обыкновенного и подал кассиру две трёхрублевые бумажки — всё наше богатство!

Через минуту мы были уже около старухи, которую подымал жандарм.

— Бабушка, бабушка, возьми вот! — сказал Петя, подавая ей билет.

— Касатик ненаглядный! Да где же ты нашёл? — воскликнула старуха.

— У дверей нашли!..

— Милые вы мои!.. Дай вам Бог...

Она быстро упала на колени и поклонилась нам в землю.

Петя побежал от неё с такой поспешностью, будто он спасался от погони.

Я бросился за ним.

Когда мы уже сбегали с крылечка вокзала, раздался второй звонок.

Едва переводя дух, уставшие, остановились мы посреди улицы и молча взглянули друг на друга.

Я не знаю, что в эту минуту чувствовал Петя, но мне было как-то особенно хорошо, так хорошо, как никогда ещё я не чувствовал себя... Именно в эту минуту...

— Домой? — спросил я тихо Петю.

— Куда же? — отвечал он вопросом.

И мы пошли домой...

Почти всю дорогу мы молчали. Только подходя к дому, Петя обратился ко мне:

— Тебе не жаль?

Я ничего не отвечал.

— Нельзя было, Саша... Ведь сын умирает, а мы... Как она рыдала!.. Обойдёмся и без ёлки один год! Я рад... ей-богу рад!

Я и сам был рад. Мне было жалко, что мы остались без ёлки, но в то же время чувствовалось, что дело сделано хорошее, что иначе и не следовало... Я сердцем сознавал, что, поступи иначе, может быть, воспоминание о рыдающей старухе отравило бы всё наше веселье...

Мы остались без ёлки — и всё-таки нам было весело...

При виде нарядной ёлки у купца мне стало неволью грустно от мысли, что вот и у нас могла бы быть такая же... Но только на одну минуту смутилось моё сердце, полное счастья.

Это было то внутреннее, глубокое счастье, которое испытываешь только тогда, когда чувствуешь себя виновником чужой радости, когда сознаёшь, что хотя чуточку людского горя да убавил, что через тебя хотя одною слезою меньше стало в мире!.. Года пройдут, и не забудешь этих минут... Счастье, счастье!.. Есть одно только счастье, друзья мои! Наше счастье — в счастии других. Счастлив тот, кто разливает вокруг себя радость, свет: облегчает горе, осушает слёзы! И нет тяжелее муки, как сознание, что чрез тебя плачет кто-нибудь в мире. Скоро ли, долго ли, но эти слёзы отравят всю твою радость, всё твоё шумное, блестящее веселье — мнимое, ошибочное счастье жизни!



СТРАННАЯ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА

— **В**аня! Мой бедный, дорогой мальчик! — шептала исхудалая молодая женщина, щёки которой горели чахоточным румянцем, большие голубые глаза тоскливо глядели вдаль, точно ища какой-нибудь опоры, какой-нибудь надежды.— На кого я тебя оставлю, мой голубчик? Кому я поручу тебя, моё дорогое дитя? — шептала молодая женщина, обнимая своей слабой исхудалой рукой маленького семилетнего мальчика, сидевшего у неё на кровати.

Мальчик как-то боязливо прижимался своей кудрявой русой головкой к груди матери и пытливо заглядывал в её больное исхудалое лицо своими задумчивыми тёмными глазками, словно стараясь понять, что говорит его мама, его добрая, милая, ласковая мама, которая так любила его, так старалась всегда порадовать своего мальчика каким-нибудь недорогим подарком или гостинцем...

Комнатка, в которой лежала мать Вани, была мала и тесна. Маленькое окошечко её выходило на один из тех грязных, тёмных дворов, которые встречаются только в беднейших кварталах богатой, роскошной столицы. Два соломенных стула, небольшой деревянный стол, трёхногий шкаф, старая кровать с соломенным тюфяком, на которой лежала больная женщина, составляли всё убогое убранство комнаты.

Маленькая дешёвая керосиновая лампочка горела на столе, освещая всю эту непривлекательную обстановку. В комнате было тихо. Эта тишина и непонятные слова матери действовали как-то странно на маленького Ваню, и он всё боязливее и боязливее прижимался к матери.

Рождественская ночь была холодна, ясна и светла. Месяц обливал своим серебристым светом улицы много-

людной, громадной столицы. Светлые звёздочки ласково глядели с высокого неба на шумный город, празднующий Рождество. В чертогах вельмож и богачей и в скромных квартирах бедняков красовались ёлки, здесь роскошно убранные, там — украшенные несколькими блёсточками и недорогими игрушками. Везде слышались шутки, весёлый смех, дружеские пожелания и поздравления. Жители столицы, казалось, сбросили на время свою мрачную озабоченность, свою суровую деловитость и предавались веселью беззаботно и беззаветно, как дети.

В комнате бедной швеи не было заметно никаких приготовлений к празднику, исключая крошечной ёлки, стоявшей в одном из углов комнаты и занесённой сюда старой Марфой, соседкой больной Нины. Старуха, шившая на продажу холщовые мешки, любила выпить и не прочь была побраниться с соседками из-за какого-нибудь горшка или ухвата, но, несмотря на всё это, у ней было доброе сердце, и она от души жалела бедную молодую швею. Старая Марфа как-то смутно сознавала, что Нине, с её миленьким правильным личиком, с её большими выразительными глазами, с её нежными кроткими манерами, совсем не место в этом большом шестиэтажном доме, среди этих крикливых, вечно спорящих между собой женщин, в этом квартале петербургских бедняков. Может быть, Марфа относилась к Нине с этой нежностью и потому, что молоденькая швея напоминала ей единственную дочь, умершую давно, умершую от той же болезни, которой страдала и мать Вани. Вот почему, как только Нина слегла, Марфа постоянно навещала свою молодую соседку, убирала её комнату, присматривала за Ваней в свободные часы, относила к закладчику её вещи и заботилась о ней, как могла и как умела.

Тяжёлые, мрачные думы пробегали в голове бедной швеи в эту ясную рождественскую ночь, когда она прижимала

Закладчик — ростовщик, человек, дающий деньги под заклад вещей.

к своей исхудалой больной груди головку своего единственного сына, своего милого, дорогого Вани. Лёжа в маленькой, тесной каморке, Нина вспоминала своё детство, свою юность, те светлые, счастливые дни, которые она прожила на маленькой ферме на юге России, в кругу любимой и любящей семьи. Перед больной умирающей женщиной пронеслась маленькая деревушка, тенистая роща, не смолкающая ветряная мельница, весёлые прогулки в лес за орехами и ягодами, песни, танцы... Вспомнила Нина доброго и серьёзного старика отца и вечно деятельную мать и хорошенькую сестрёнку. А потом перед умирающей с осязательной ясностью явился её Ваня, дорогой Ваня, молодой художник, приехавший из Петербурга и остановившийся в квартире её отца. Вспомнила Нина долгие прогулки, ласковые речи, весёлую свадьбу в маленькой сельской церкви, переезд в Петербург и трудовую, бедную, но счастливую жизнь. Да, хорошо жилось Нине с молодым мужем в столице, хотя они оба работали без устали: он кистью, она иголкой. Чисто, уютно и светло было в их маленькой квартирке, и ещё веселее, ещё светлее на душе стало у них, когда родился маленький Ваня. Как гордился отец своим мальчиком, как любовалась им молодая мать! Какие радужные планы они составляли: они мечтали видеть своего сына знаменитым художником или артистом... Но недолго длилось счастье Нины. Её муж вернулся раз с работы (молодой художник нередко совершал небольшие поездки, чтобы изучать живописные местности России) больным и измученным; напрасно звала Нина лучших докторов, напрасно заложила она всё, что можно было заложить, продала всё, что можно было продать, не отходила ни на минуту от своего мужа, — всё было напрасно: тиф не выпустил своей жертвы, и молодой художник умер.

Тяжело было на сердце у женщины, когда она схоронила своего Ваню, но у ней остался другой Ваня, и молодая мать решила, что она должна жить и работать для него.

Нина могла бы вернуться к отцу после смерти мужа, но молодая женщина знала, что дела старика плохи, и потом, ей хотелось, чтобы её сын не был обязан никому, кроме её одной, — и она храбро покончила с своей прежней жизнью, распродала свои вещи, поселилась в бедной квартире и принялась за работу. Это была тяжёлая жизнь, но Нина не жаловалась, не отчаивалась: ведь подле неё была русая головка её маленького Вани, ведь он улыбался ей, она слышала его весёлый смех, его детскую болтовню.

Но непосильный труд и бедность подтачивали медленно здоровье Нины. Молодая швея, жившая воспоминанием о муже, любовью к ребёнку, не замечала, что она слабеет с каждым днём, что глухо кашляет и что грудь болит и ноет всё сильнее и сильнее. Она не писала к родным, боясь напугать их, она всё ещё бодрилась, как все чахоточные, всё ещё надеялась, что поправится, не считая своей болезни серьёзной. Она поняла опасность только тогда, когда уже слегла и не вставала. Конечно, она написала своему отцу, умоляя его приехать и взять внука к себе, но ответа не было, и Нина скорбела при мысли, что, верно, и там случилось какое-нибудь несчастье, и её Ваня останется один, один в многолюдном и шумном Петербурге.

Невесела была рождественская ночь для больной, умирающей матери. С тяжёлой тоской прижимала она к груди русую головку мальчика, и ещё печальнее, ещё безнадежнее зазвучал её голос:

— На кого я тебя оставляю, дорогой мой? Что будет с тобой без мамы?

— Не уходи от меня, мама, не бросай своего Ваню, — тихо шептал мальчик, плачущий как-то робко и тихо, как плачут дети от горя, и сердце умирающей сжалось мучительной тоской.

Но вот Нина как-то судорожно приподнялась на кровати и взглянула вдаль. Ей показалось, да, ей показалось совершенно ясно, что из этих светлых, ясных звезд, мерцающих

миллионами на небе, спустилась к ней одна близко, ей показалось, что эта ясная, светлая звездочка блестит уже не там, на высоком, далёком, недоступном небе, а тут, в её маленькой, низенькой, тёмной каморочке, что звезда наполняет эту каморку каким-то чудным, тёплым, серебристым светом.

Легко стало на сердце у матери. Ей видится ясно, совершенно ясно, что светлая звёздочка приближается к ней всё больше и больше, что она наклоняется к русой головке маленького Вани, который прилёг на подушку, когда мать выпустила его из объятий, что звезда нежно касается своими лучами до тёмных задумчивых глаз, и эти глазки закрываются; касается до его розовых губок — и на губах появляется тихая, светлая, радостная улыбка. Больная слышит совершенно ясно мягкий ласковый шёпот.

— Не бойся, Нина,— шепчет ей светлая, ясная звездочка, — твой Ваня не останется один, я останусь с ним, я буду освещать его путь во время жизненных невзгод, я буду утешать его в минуту скорби и горя, я буду поддерживать его, когда он ослабеет. Я звезда любви к людям, любви ко всему живому, звезда, освещающая жизнь тех, которых остальные называют мечтателями и поэтами. Я научу его находить свет среди тьмы, научу его радоваться чужой радостью, плакать чужим горем, — научу его жить. Не бойся за твоего Ваню, Нина! Усни спокойно! Твой мальчик — один из тех немногих избранников, в сердцах которых светит мой свет, в глазах которых блестят мои лучи, — не бойся же за него, я буду с ним всегда, и в детстве и в юности, я буду светить ему в жизни, я буду светить ему и при кончине... Усни же спокойно, усталая страдальца!

Голова умирающей тяжело склонилась на подушку подле русой головки уснувшего малютки, глаза закрылись, руки опустились на грубое серое одеяло.

В комнате было по-прежнему тихо, керосиновая лампа догорала, звёзды смотрели ласково в маленькое окошко, и заплакавшийся ребёнок сладко спал подле умершей матери.



САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Мне не было ещё шести лет, когда я выразил желание непременно говеть.

— Мама, я тоже хочу говеть,— сказал я

— Тебе ещё не нужно,— отвечала она.

— Отчего?

— Ты младенец, тебя так приобщают Святых Тайн.

— Но я тоже грешу ведь?

— погоди, дружок, теперь твои грехи Бог так прощает, молись только. А вот после семи лет и ты будешь говеть.

Шло время, и я с нетерпением ждал, когда я перестану быть младенцем и мне нужно будет говеть. В день рождения, когда мне минуло семь лет, я объявил няне:

— Теперь я не младенец, я буду грешить, и мне надо говеть.

Вошла мама, и я сказал ей:

— Правда, мама, я ведь теперь буду говеть?

— Да, Великим постом.

Началось говенье. Я ходил с мамой ко всем службам. Приходилось рано вставать, что для меня было очень тяжело. Когда няня будила меня в первый раз, в понедельник, я едва мог встать.

— Чуточку, няня, одну минуточку,— молил я.— Пять минут — и я встану.

— Да нечего торговаться... Не хочешь вставать — спи, только тогда и говеть нечего... А ещё просил будить... Хорош говельщик!

Говеть — поститься и посещать церковные службы, готовясь к исповеди и причастию.

Приобщиться Святых Тайн — причаститься, вкусить хлеб и вино, символизирующие тело и кровь Иисуса Христа.

Великий пост — семинедельный пост, предшествующий Пасхе.

Это меня задело. Я быстро вскочил с постели, спешно умылся, оделся. Мама была уже готова. Заблаговестили к часам, и мы пошли в церковь. На другой день я уже встал без «всякого торгования», как выразилась няня.

Но мне было трудно стоять все службы. Я молился усердно, прося Бога «простить все грехи», но очень уставал и говорил матушке и няне, что постом обедня длиннее.

— На то и пост, — отвечала няня.

А матушка замечала:

— Обедня не длиннее, а ещё короче, но до обедни — утренняя и великопостные часы.

После вечерни я удалился в маленькую комнатку и принялся подсчитывать грехи. Но как-то не мог сообразить всего. Мама была занята, и я пошел к няне. Она улыбнулась и промолвила:

— Начинать же... что ты сделал дурного? Ведь мамашу часто не слушался?

— Совсем не часто.

— А всё-таки бывало? Ну, вот и говори батюшке: старших, мол, не слушаюсь, бранюсь.

— Кого же я браню?

— Как кого? И дедушку, и меня, али забыл? А злиться? Разве не злился? Перво-наперво платье у Лизочки испортил, Марфе чашку разбил. Не скажешь ли: не нарочно? Не лги, не лги! А вот и это: лгать ты мастер. Помнишь, летом всю курточку испачкал? Сейчас сочинил: поскользнулся,

Заблаговестили к часам — начали звонить к богослужению (часы — богослужения, совершаемые четыре раза в сутки).

Обедня — церковная служба перед обедом, во время которой совершается таинство причащения (литургия).

Утренняя — утренняя церковная служба, заутреня.

Великопостные часы — отличаются от обычных (вседневных) часов составом читаемых текстов.

Вечерня — церковная служба, совершаемая в вечернее время.

Коля толкнул. А после что оказалось? На дрожки сзади прицепился и оборвался. Солгал и на Колю наклеветал. А Катюшку побил, помнишь? Она взяла твоего солдатика, ты её и побил. Разве годится?

Как трудно просить прощенья! Ложная гордость охватывает неволью. Просить у Бога — совсем не то: тут про себя, никто не знает. А просить у другого человека, у равного себе, тем более у того, кто ниже тебя... о, это очень трудно! Мне предстояло просить прощения не только у Лизы, а даже у Марфы и Михея.

В комнате няни меня ждал неприятный сюрприз. У лежанки сидела Катюшка и пила чай. Я искоса посмотрел на неё. Она была одета в полинялое платье, руки грязные... Катя фыркнула носом. Я стоял и молчал.

— Саша! — произнесла тихо няня.

— Что? — так же тихо спросил я.

— Не упрямясь же, милый,— сказала няня,— ведь ей не нужно, чтобы ты покаялся, а ты для себя должен.

Я поколебался, сделал над собой усилие и произнёс, не глядя на девочку:

— Я поступил худо тогда... Не сердись...

Когда Марфа принесла самовар, я вспомнил, что у неё ещё не просил прощения. Я соскочил со стула и побежал в кухню.

— Марфа, прости меня, грешного,— сказал я.

Ударили к вечерне. Мы поспешно оделись и пошли в церковь. Я начал волноваться, и чем дальше шла служба, тем сильнее становилось моё волнение. Когда стали читать «правило» перед исповедью, моё волнение достигло крайней степени.

— Саша, иди! — сказала мне матушка и слегка подвинула меня вперед.

«Правило» — молитвы, читаемые верующими во время приготовления к причащению.

Полумрак... Запах ладана, восковых свечей... Аналой — и перед ним отец Павел, в рясе; сверху — епитрахиль. На аналое — крест и Евангелие. И вдруг я почувствовал, что передо мною стоит не суровый отец Павел, а добрый, любящий отец, который готов простить напавшего сына. У меня пропал всякий страх. Отец Павел и не спросил даже, а я ему сам рассказал о том, как брал тихонько деньги у бабушки.

Он перекрестил меня, я приложился к Евангелию и кресту и вышел из ризницы. Матушка ещё не исповедовалась. Но за мной пришла няня и увела домой.

Меня разбудили в шесть часов. Некоторое время я совсем не мог прийти в себя.

— А чай не будем пить?

— Христос с тобой! Разве можно пить чай до причастия?

— А мне и кушать хочется...

— Мало ли что хочется! Вот после причастия...

Стояло яркое мартовское утро... Какой-то особенный весенний запах был разлит в воздухе. Я быстро шагал по тротуарам, так что няня едва поспевала за мной.

Причастники были одеты по-праздничному. Я был очень доволен своей бархатной курточкой и начал усердно молиться, подражая матушке. Пропели Херувимскую песнь.

Аналой — столик с наклонной крышкой, на который кладутся богослужебные книги и иконы.

Ряса — облачение духовенства, длинная просторная одежда чёрного цвета.

Епитрахиль — принадлежность богослужебного облачения священника — длинная лента, огибающая шею и обоими концами спускающаяся на грудь.

Ризница — помещение в храме для хранения богослужебного облачения и церковной утвари.

Херувимская песнь — церковное песнопение, начинающееся словами «Иже херувимы...»

Вот отдёрнулась шёлковая завеса и бесшумно растворились Царские врата. Высокий дьякон вышел с чашей и громко произнёс: «Со страхом Божиим и верою приступите!» Матушка взяла меня за руку и повела причащаться.

— Приобщается отрок Александр!

В первый раз меня так называли: отрок, а не младенец! Мы отошли в сторону, мне дали «теплоты» и кусок просфоры.

— Поздравляю тебя, Саша!

Матушка нагнулась ко мне и поцеловала меня.

Дома нас все поздравляли. Скоро мне захотелось спать. Я напился чаю, поел и лёг. А няня говорила, укладывая меня:

— Усни с Богом... Теперь ты опять как младенец... безгрешный!

— Совсем, няня?

— Пока не нагресишь снова!

— Я не буду грешить!

Я взглянул на образ Спасителя. Христос ласково смотрел на меня и благословлял. Я подумал, что это самый счастливый день в моей жизни, и крепко уснул.

Царские врата — двустворчатая дверь в иконостасе, ведущая в алтарь.

«Теплота» — горячая вода, вливаемая перед причастием в чашу с вином, символизирующим кровь Христову.

Просфора — богослужебный хлеб, символизирующий тело Христово.



НЕВЕСТА ВАСЫ
(Из зырянских рассказов)

Стоял крещенский сочельник. Темнело. Мороз крепчал, усиливаясь поднимавшимся ветром. Серое неприветное небо постепенно прояснялось. Вот порыв ветра сорвал с дерева ком снега и пылью рассыпал его кругом. Какой-то гул порой проносился издали. В лесу, близко подошедшем к дороге, нет-нет и что-то начинало завывать, и вдруг раздавался резкий звук, словно кто стрелял из ружья. Сквозь дрему я даже вздрагивал невольно, но, поняв, что это не выстрел, а дерево от мороза треснуло, опять дремал, завернувшись хорошенько в шубу, надетую поверх простого тулупа. Мой возница зырянин неподвижно сидел на облучке и только покрикивал на лошадак:

— Гай, гай, ветлы, ветлы!

Ему тепло. Одетый в малицу, он не боялся мороза, да он и вообще привык к нему. А я ёжился от холода и с нетерпением ждал той минуты, когда мы доедем до деревни, от которой до села уже останется всего сорок вёрст. В деревне у меня был знакомый зырянин, даже можно сказать приятель, потому что с ним я познакомился ещё несколько лет тому назад. Закрывшись воротником шубы, я мечтал о скором тепле, о том, что напьюсь чаю и отдохну хоть с часок-другой от езды по ухабистым дорогам.

А ветер, словно поняв мои думы и злясь на то, что я таки на время уйду из-под его власти, налетел на нас с каким-то

Крещенский сочельник — канун Крещения.

Зырянин — человек из народа коми, живущего на северо-востоке европейской части России.

Малица — малица шьётся оленьей шерстью вниз, покрывается нанкой, а подол обшивается пыжиком. Её покрой напоминает дьяконский стихарь. (Примечание автора.) (Нанка — плотная хлопчатобумажная ткань буровато-жёлтого цвета; пыжик — шкурка телёнка северного оленя; стихарь — длинная богослужебная одежда из парчи.)

ожесточением, поднял столб снега, покрутил его на одном месте и погнал вперёд, увеличивая его в объёме. Я схватился даже рукой за шапку: мне показалось, что её сорвёт с головы сильным порывом ветра. На небе между тем вызвездило. Остатки разорванных облаков уносило вдаль. В лесу скрипели деревья, качаясь от ветра. Общий вид леса, погребённого под снегом, был какой-то угрюмо-зловещий.

— К Петырю, говоришь, ехать-то? — вдруг промолвил мой возница, обернувшись ко мне.

— Да, к Петырю... А что, скоро разве?

— Гляди — эво! — промолвил только возница, указывая кнутом в сторону.

Я посмотрел — вдали во тьме мелькали какие-то редкие светлые точки, точно волчьи глаза.

— Деревня это уже? — спросил я.

— Она.

Он дёрнул вожжами и закричал опять:

— Гай, гай, ветлы, ветлы!

Через какие-нибудь четверть часа мы въезжали уже в деревню, полузасыпанную снегом. На её неправильной улице, плохо наезженной, царила полная тишина: не виднелось ни души, словно вся деревня вымерла. И только слабые огоньки, проникавшие на улицу сквозь тусклые, замёрзшие окна керок, указывали на жизнь. Из-под ворот выглянула собака и залаяла. Её одинокий лай гулко пронёсся по деревне. Но верный сторож не дождался поддержки и ответа от собратьев и спрятался снова, как бы разочарованный, даже несколько сконфуженный таким обстоятельством.

Мы подъехали к керке Петыря.

Изба Петыря одна из лучших в деревне. Петырь — зажиточный и домовитый хозяин. В иных керках оконные рамы обтягиваются пузырями: во многих если и есть стёк-

Керка (зырянск.) — изба. (Примечание автора.)

Пузырь — высушенный и хорошо очищенный бычий желудок.

ла, то составлены из мелких обломков; у Петыря цельные стекла. Я ещё не успел из саней вылезть, как на крыльце показался сам хозяин — коренастый мужик невысокого роста, но такой здоровенный, как говорится, «ядрёный», что невольно подумашь: «Ну, этот и большого сильнее, пожалуй!» Сверх рубахи на Петыре был накинута тулуп.

Петырь сразу узнал меня и искренно обрадовался.

— Каким ветром занесло? — воскликнул он, улыбаясь, и эта улыбка сразу изменила его красивое, но несколько угрюмое лицо.

— Да вот в Н-ое село еду,— сказал я, подымаясь на крыльцо.

— В Н-ое?

— Да, а оттуда в Вологду.

— Так... А откуда теперь-то? Где были?

— В бега, Петырь, пустился, в бега,— усмехнувшись, ответил я.

Петырь с недоумением посмотрел на меня.

— Не понятно? — промолвил я.

— Невдомёк, Ликсан Василич, неведомёк!

— А вот в избе всё расскажу, дай обогреться... Угостишь чайком?

— Ещё бы нет! Сейчас, сейчас, Ликсан Василич! Мигом!..

Мы вошли в керку.

Внутреннее расположение избы зырянской почти такое же, как и русской. К огромной печке, занимающей едва ли не половину избы, пристроено подполье, называемое порусски голбец. Отличительной чертой керки является окно, просверлённое в стене над печкою, — окно круглое и довольно большое.

За столом на лавке сидела пожилая женщина — жена Петыря. Она встала при нашем приходе, поздоровалась со мной и, получив приказание от мужа «нагреть живее самовар», бросилась исполнять это приказание. Я ещё не успел

снять шубы, как маленькая дочь Петыря, Парэ, подмела избу и накрыла стол скатертью — белой, но довольно грубой.

Раздевшись совсем, я снова поздоровался с Петырем и, севши с ним рядом на лавку, рассказал о моих приключениях.

— И-и, дорогой,— промолвил Петырь,— с непривыку где же... Ещё ладно, что огневица недолго маяла да всё благополучно обошлось, а то...

Он не кончил, опять усмехнулся и добавил:

— Сбежал, значит? Ну что же, когда-нибудь, може, опять соберёшься, а теперь, стало быть, на дома?

— Да, домой, Петырь. Вот в Н-ом встретить хочу Пегова, да с ним и домой.

— Так, так!

А на стол, между тем, был подан самовар, и появилась закуска: ярушники, чиринянь, брюква, репа; в кувшине — ырош.

Я и проголодался, и озяб, — и с удовольствием поел вкусного чириняня, брюквы, и ещё с большим удовольствием принялся пить чай.

Маленькая Парэ то и дело хлопала дверьми, выбегая и снова возвращаясь в керку. Мать накинулась на неё:

— Чего ты избу-то студишь? — крикнула она сердито. — И куда тебя носит? Бегай больше на двор, так и попадешь в невесты к Васу!

Девочка сразу присмирела и пугливо прижалась в угол.

— Что, испугалась? — с улыбкой спросил отец. — Не хочешь к Васу? Не люб такой жених?

Огневица — горячка. (Примечание автора.)

Ярушники (зырянск.) — лепёшки из ячменной муки, намазанные маслом. (Примечание автора.)

Чиринянь (зырянск.) — рыбный пирог. (Примечание автора.)

Ырош (зырянск.) — квас. (Примечание автора.)

Девочка молчала.

— Что это такое, Петырь? — спросил я.

— А так вот, пугаем стало...

— Кто же такой Васа? Старик, что ли? Или наш бука?

— Вроде выходит. Разве не слышал ничего, не знаешь, кто Васа?

— Нет.

— А Куля знаешь?

— Про Куля слышал. Это водяной?

— Да.

— А Васа?

— А что Васа, что Куль — одно и то же... только клички разные.

Со словом «Куль» у зырян соединено понятие о существе, обитающем в воде, имеющем вид человека с длинными и влажными волосами. Зырянам Куль представляется существом совершенно телесным, не имеющим никаких свойств духа. Куль питается рыбою, имеет жён, детей, у него под водой дома, коровы — словом, всё хозяйство как следует. Он живёт в реках, в озёрах, в морях, в омутах и изредка в зыбучих, топких болотах. Только что родившиеся его дети имеют неопределённую мохнатую форму, которая получает жизнь, развивается и принимает определённый вид и форму постепенно, по мере возрастания.

Всё это и рассказал мне Петырь. Я и раньше слышал о Куле, но не знал таких подробностей и того, что его также зовут Васой.

— А встречался кто-нибудь с ним? — спросил я.

— О, где же встречаться! — ответила с испугом жена Петыря. — Не дай бог и святой Стефан видеть его! Кто видел, тот и пропал.

— Как пропал?

Святой Стефан — Стефан Пермский (около 1345—1396), просветитель и небесный покровитель народа коми.

— А так, он увезёт.

— Увезёт? Куда?

— А к себе под воду, в своё хозяйство. Вот сегодня самый такой страшный день и есть.

— Сегодня? Почему же именно сегодня?

Оказалось, что Куль, или Васа, живёт в воде и выходит из неё только раз в году — в крещенский сочельник. В другое время он иногда показывается на поверхности и чешет себе волосы, но при виде людей скрывается, а в крещенский сочельник выходит на землю и возит за собою санки; встретит девушку — и увезёт её к себе.

Эта демонологическая легенда распространена во всём зырянском крае. Старые люди и особенно женщины ей верят вполне и ни за что не выйдут вечером на Крещенье. Молодежь — конечно, не вся, а та, что побывала в городе да училась — скептически относится к легенде, а то и совсем не верит, говоря, что всё это бабьи выдумки.

Я осторожно выразил своё мнение о легенде, желая узнать, как отнесутся хозяева. Жена Петыря оказалась всецело верующей в Куля и в то, что он в крещенский сочельник увозит девиц, вышедших на улицу. Петырь ответил неопределенно, не отрицая слов жены, но как бы и не совсем веря тому, что она считала незыблемой истиной.

— Да бывали разве примеры? — спросил я.

— И много, много, — поспешно ответила хозяйка. — Вот не верят, не верят, смеются, за то и платятся.

— А вы знаете хоть один пример? Был у вас на глазах?

— Был, был, — опять ответила хозяйка. — Тут несколько лет тому назад жила Одэ, девица одна... Сирота... С бабкой и дедом жила. Красавица была, о какая красавица! Такой красавицы и не видала я более.

— И что же? — перебил я хозяйку, видя, что она имеет намерение пуститься в длинное описание красоты Одэ.

— Пропала девка!

— Васа увез?

— Васа. Не слушалась стариков, вышла, да так и пропала.

— Н-ну, нашлась всё-таки! — заметил Петырь, улыбнувшись, и мне показалось, что он улыбнулся как-то особенно коварно.

— Нашлась! — воскликнула жена.— Да как нашлась? Васа всю её красоту съел, всю кровь высосал. На что она похожа стала, и долго ли она жила после того? Да и правда ли, что нашлась, она ли это была? Может быть, Кузь и ошибся: не её встретил, а обознался и за неё другую принял?

— И то может быть! — произнёс Петырь, но лукаво усмехнулся и посмотрел на меня.

Я хотел ему задать вопрос, но меня стесняло присутствие жены. Через несколько минут она вышла за чем-то из керки, и я, воспользовавшись её отсутствием, обратился к Петырю:

— А что, Петырь, ты не веришь этому? Не Васа взял Одэ?

— Может, и он, кто знает?

— Да нет, ты скажи прямо. Я заметил, что ты всё улыбался, вот и теперь твои глаза лукаво смотрят на меня и смеются тоже. Полно, Петырь, не таись.

Он помолчал с минуту и промолвил:

— Кто знает — бабьи басни, а ведь, может быть, и не всё враньё. С чего-нибудь да выдумали. Может быть, и берёт Васа, да только Одэ не он взял, это-то я доподлинно знаю.

— А кто же?

— Кто? Ваш брат, русский, вот кто!

— Бежала?

— Слюбилась и бежала. Торговец тут один ездил, ражий такой парень, что говорить. Много девок по нём сохло, и Одэ он полюбился.

— Отчего же он не женился на ней?

Ражий — коренастый, крепкий, сильный.

— А оттого и не женился, что нельзя было.

— Почему же нельзя?

— А потому, что он был уже женат.

— Женат?

— В том и дело! А девка с ума сошла совсем, от жениха отказалась и бежала с ним.

— Так при чём же тут Васа? — спросил я.

— А при том, что на него свалить всего лучше! Дед и бабка Одэ — люди не последние, а можно сказать, из первых на деревне. Стыдно тоже, срамота. Надо как-нибудь изворотиться — вот и свалили на Васу, благо девка-то умница, как раз в крещенский сочельник убежала!

— И что же, поверили разве?

— Хочешь верь, хочешь не верь, а всё-таки прямо не скажешь, что врут. Да многие и поверили. Одна старуха так прямо заверяла, что видела, как Васа летел с санками по улице, а Одэ была к саням привязана. Съежилась, говорит, сердешная, в платье одном, дрожит.

— Разве она в одном платье сбежала?

— Как есть в одном. У него, знать, уже было всё припасено.

— Но как же баба могла видеть? Врала, конечно. Её подкупили?

— И то может быть, а то и так сбрехнула. Мало ли что старухам мерещится. Да ведь, как сказать: я и стариков-то, пожалуй, не буду винить в обмане, может быть, и они-то сразу поверили, и только уж опосля, когда узнали о внучке, тогда поняли, да уже не хотели позориться.

— А где же она нашлась?

— Да в городе же у вас.

— Бросил он её?

— Бросил. Потешился и бросил. Много маяты она вынесла, по чужим людям служила, а домой не пришла: боялась, да и стыдно было, а тут занемогла она, да и умерла в больнице.

— А как же узнали?

— Один от нас в городе работал и встретил. Кто и понял, да не стали говорить: что стариков позорить, а другие поверили, что Васа выпустил, иссушив её.

— А ты, Петырь?

— Что же я? Я всё это хорошо знаю, да что мне... корысть разве, старикам и так не сладко.

— А что, Петырь, может быть, и все другие случаи такие же? И там не Васа увозил? — заметил я с улыбкой.

— А кто знает! — ответил Петырь. — Может быть, и такие же, а может быть, и правда, что Васа... С чего-нибудь идёт вера.

В керку вошла жена.

— Что ж, ночуешь у нас? — спросил Петырь.

— Нет, — ответил я, — не ночую, надо к утру попасть в село. Достань, Петырь, мне лошадей. Я отдохну немного у тебя, да и в дорогу.

После чая я лёг спать на печку и сейчас же заснул. Когда часа через два я проснулся, лошади уже были готовы. Я поблагодарил гостеприимных хозяев, подарил Парэ серебряный рубль, бывший со мною, и отправился в Н-ое село.

Дул холодный северный ветер, мороз усилился, небо совсем очистилось от облаков, сделалось ясно, как летнее безоблачное небо. Мириады звёзд блестели на нём. Мороз стучал своим жезлом по деревьям, и удар за ударом разносился в воздухе.

Мы уже проехали несколько вёрст, как на северном склоне горизонта вдруг отделилось шаровидное пространство бледно-беловатого цвета. Оно то колебалось, трепетало, выплывало и погасало, то расширялось, умалялось, исчезало и опять появлялось. Во всех этих изменениях оно было невыразимо чудно и так быстро, что глаза едва успевали следить за его беглыми движениями. Немного спустя от этой колыхавшейся массы бледновато-белого пространства разостлались по небу в виде широких лент белые светящиеся

полосы, также колыхавшиеся, которые, видимо пересекая друг друга, исчезали и показывались опять то более на северном, то на восточном склоне горизонта.

— Ишь, как сполох играет! — произнёс мой возница.

Я промолчал на это замечание, но спустя минуту спросил зырянина:

— А ты слышал про Васу?

— Кто же не слышал,— ответил тот и как-то подозрительно посмотрел по сторонам.

— А правда, что он сегодня девушек ловит на улице?

Мой возница ничего не ответил на это, а только громче обыкновенного закричал на лошадей:

— Но, но, гай, гай, ветлы, ветлы!

Я повторил вопрос, но возница опять ничего не ответил. Он только проворчал что-то себе под нос.

«Этот верит и боится!» — подумал я, плотнее закутываясь в шубу.

А белые полосы света быстро расстилались по небу, обгоняли одна другую, пересекались, исчезали и опять появлялись.

Лошади быстро неслись вперёд, порой так быстро, что едва ли быстрее мог мчаться и сам Васа, увозивший Одэ, по рассказам старухи.

Сполох — северное сияние. (Примечание автора.)



МЕСТЬ

Весна на Севере начинается очень быстро. Ещё пята дерева в снегу, а на вершине уже развёртывается листок и светит изумрудом на солнце. Наряду с расцветающими молодыми деревьями рушатся старые пни и колоды. Вот дерево, в которое когда-то ударила молния и расщепила ствол посередине. Пришла весна. Но она не для него: её ласки не возродят его. Голые ветки торчат, как прутья, кора посерела и сморщилась. Корни не тянут более из земли питательной влаги, от которой надувается кора и наливаются почки. Жалкий остов дисгармонизирует с общей картиной возрождения. Напрасно дерево будет бороться со смертью: хирея всё более и более, оно скоро погибнет; корни подгниют и подломятся. Дерево осядет и накренится. Первый порыв сильного ветра — и оно упадёт, уступит место молодой поросли, которая уже пустила светлые корни промеж старых и тёмных. Жизнь идёт, крича безжалостно: «Прочь с дороги, жалкий инвалид!»

А всё, что способно к жизни, спешит нарядиться в зелёную одежду, чтобы торжественно встретить праздник весны. Вот и листва развернулась, ещё бледно-зелёная, тонкая и мягкая. Шум её при ветре тих и нежен; листки будто ещё учатся переговариваться между собою. Солнце пронизывает листву лучами. Дерево, освещённое солнцем, даёт кружевную тень на земле. Воздух чист и прозрачен. Небо бледно-голубое. Все краски нежны и светлы. Атмосфера напоена тонким ароматом зелени и запахом согревающейся земли.

Птицы засновали взад и вперёд. Просыпается царь леса медведь и грузно поднимается из берлоги. Он сладко потягивается, расправляя отёкшие члены и с приятностью нюхая свежий воздух. Зарыскало весёлое мелкое зверьё. Всё ожило и зашевелилось.

А весна идёт с весёлой улыбкой на молодом челе. И вот мало-помалу листва становится гуще, её окраска ярче. Снег

окончательно стаивает, и на его месте вырастает трава. Кое-где она начинает блестеть жёлтыми глазками одуванчиков, белыми колокольчиками ландышей, синими и красными цветами. Словно природа — этот великий художник — по однообразному зелёному фону сделала там и сям несколько небрежных ярких мазков кисти. Они так и остались пятнами, придавая общему виду более жизни и разнообразия. Солнце дольше засматривается на землю. Лучи его горячее. Деревья уже раскинули в лазурной выси целый шатёр из листьев, в тени которого человек может укрыться от полуденного зноя. Вся растительность достигает полного цвета. Наступает лучшая пора на Севере: уже тепло, а ещё нет ни «солнечного пекла», ни докучливой мошкары и комаров, от которых плохо защищают и зырянские накомарники.

Стояла именно эта благодатная пора.

Было утро. Недавно взошедшее солнце освещало лишь вершины деревьев розовым светом. Роса в виде чистых слёз повисла на листьях. Омытые, они казались прозрачными. Хвоя резко выделялась тёмною окраскою. Лишь концы ветвей были светлы, точно надставленные. На небе ни облачка. Деревья стояли не шелохнувшись. Тишина леса нарушалась рокотом ручья, низвергавшегося со стремнины в овраг, где он бежал по дну, теряясь в почве, — за разнородными головами птиц, приветствовавших утро. Оба берега оврага были круты, поднимаясь неровными возвышенностями и образуя на своём протяжении несколько «лысых маковок». Таким образом, почва казалась как бы взрытою гигантскою лопатою, причём земля легла как попало. Бугры разделялись между собою провалами, ямами и ровными гладями.

В свежем воздухе разливался смолистый аромат, струившийся от сосен. Они были унизаны мягкими иглами в виде свечей. Бело-зелёные, прямостоящие, они покрыли дерево от маковки до конца ветвей. Испарение от земли на солнце смешалось с запахом смолы, в виде фимиама курившейся в необозримом храме природы. Это грандиозное зрелище свой-

ственно лишь северным лесам сплошной хвои, тянущейся без перерыва на несколько вёрст. Картина, дорогая для сердца зырянина — сына лесов, где он проводит половину своей полуномадской жизни. Грубое дитя природы, далёкий культуры, он любит свои угрюмые леса и в свободную минуту по долгу стоит на одном месте, следя за плывущими облаками, вперив взоры в купу сосен, вдыхая их ароматы, прислушиваясь к шороху белки, к крику пугача, к песне малиновки, к монотонной долбне дятла, к журчанью лесного ключа. Зырянин — поэт в душе; в охоте, помимо материальной выгоды, он видит наслаждение. Труд земледельца слишком будничен для него; охота же, с её тревогами и приключениями, сильнее говорит его сердцу. Зырянин, коми-морт, — чужд полю. Его стихия — лесной океан, где легко затеряться, погибнуть, но где самая опасность таит в себе чарующую прелесть. Моряка убаюкивают морские волны, зырянин засыпает сладко под шум сосен и кедров.

В то самое утро, с которого начинается наш рассказ, на самом высоком бугре описанной местности стоял молодой зырянин, одетый в широкие холщовые штаны и такую же рубаху, в самодельной шляпе на голове. Он жадно глядел на расстилавшуюся местность, над которой господствовала возвышенность. Он был в обычном настроении духа, что и отражалось на широком, несколько скуластом лице, с маленьким носом и большим ртом, и делало это загорелое лицо, обрамлённое жидкою растительностью, менее некрасивым. Раздвинув немного ноги, зырянин походил на какое-то каменное изваяние, сделанное рукою самоучки скульптора — грубое, аляповатое, но крепкое. Парень был коренастый и, по-видимому, своею мощью не много уступал медведю. Несколько сутуловатая, широкая спина с выдававшимися лопатками говорила о способности вынести какую угодно

Полуномадская жизнь — полукочевая жизнь.

Коми-морт (зырянск.) — лесной человек. (Примечание автора.)

тяжесть. Большие руки и ноги с железными мускулами просили работы и отрицали усталость. В нём всё было топорно, но сильно и прочно. Он являлся как бы олицетворением физической силы. Но в этом большом и нескладном теле жила душа, способная наслаждаться картинами природы, доступная впечатлениям прекрасного.

Невдалеке от бугра виднелась лесная тропинка, змейёй извивавшаяся между деревьями. Она вела к деревне, расположенной за несколько вёрст. Отводя свой взгляд от ближайшей картины, зырянин устремил его вдаль, где острое зрение отлично различало на горизонте лесной посёлок. Он долго смотрел туда, и его лицо озарилось мимолётною нежною улыбкой, за которой следом пробежала по лицу тревога. Она перешла снова в задумчивое спокойствие, и парень тихо опустился на землю. Он лёг на живот, подпёр подбородок руками и устремил глаза вдоль лесной тропинки.

II

Он лежал не двигаясь, упорно глядя по одному направлению и как бы прислушиваясь. Он ждал кого-то, наверное.

Лицо его было спокойно и не выдавало внутренней тревоги и тех дум, что одна за другою проносились в голове парня. Он приготовился к решительному шагу, бросая на ставку своё счастье. Он уже давно боролся сам с собою, боясь этого решительного момента. Красавица соседнего посёлка, полногрудая Одэ, завладела сердцем трудолюбивого, но неуклюжего и некрасивого Пэдэра. Она полонила его мысль, его думы, его покой и сон. На охоте, в самый горячий момент, парень вдруг опускал винтовку, отдаваясь думе о красивой зырянке. Он бил птицу с мыслью об Одэ, с мечтою о ней же рано поднимался с жёстких нар пывзана и с теми же мечтами

возвращался в него. Когда его товарищи, поужинав плотно, забавлялись шутками и рассказами на сон грядущий, Пэдэр молча сидел в углу и думал о девушке, рисуя себе её дорогой образ. Привыкший с детства к лесу, он тосковал в нём по Одэ, которой приносил лучшую добычу в подарок. Девушка брала, но не делалась к нему ласковее. Правда, иногда она будто мягче относилась к своему поклоннику, но и в этой мягкости звучала всегдашняя насмешка, которая временами превращалась в жестокое и бессердечное глумление. Чаще всего Одэ не замечала влюблённого Пэдэра, оказывая внимание более красивым, и в особенности красавцу, ловкому стрелку Петырю. Но и этот не мог похвастаться победой: властная лесная красавица круто держала себя относительно всех парней, и сегодняшняя ласковая улыбка ещё не мешала завтрашнему грубому и решительному: «Убирайся к Яг-Морту!» Но на долю Пэдэра не выпало ни одной такой улыбки, зато он видел много насмешек, слышал немало колких речей. И всё-таки он продолжал любить Одэ. Он жил надеждою, вынося оскорбления. Эти последние словно укрепляли ещё любовь его. Он не смел прямо приставать к девушке, но ходил за нею всюду, ища случая играть вместе и быть близко. Он заметил и почувствовал расположение Одэ к Петырю. Но он надеялся взять верх над бедным и ленивым красавцем.

У Пэдэра был один приятель — не друг даже, а только хороший приятель. Он разгадал чувства Пэдэра и сказал ему как-то:

— Что ж ты думаешь, Пэдэр, насчёт Одэ?

— А что?

— Да я так полагаю: лови урку, пока она прыгает на воле. Из чужих сетей брать не придётся!

Пывзан (зырянск.) — охотничья бревенчатая избушка.

Яг-Морт — персонаж мифологии коми, лесной великан наподобие лешего.

Урка (зырянск.) — белка. (Примечание автора.)

— Я и не возьму чужой добычи,— ответил Пэдэр.

— Так ты, стало быть, не хочешь бить её из своей винтовки?

— Я не сказал этого.

— Не думаешь ли ты, что она будет сидеть и дожидаться тебя на одной и той же ветке? Охотников много, гляди.

— Я знаю.

— Не упусти. Не вдали от тебя — Петырь. Он уже давно прицелился и, пожалуй, выстрелит раньше тебя.

— Авось, промахнётся!

— Не спорю.

На этом разговор приятелей и кончился. Вскоре вдруг начал ходить слух по околотку, что Петырь намерен сватать Одэ.

Это известие всколыхнуло Пэдэра. В самом деле: урка может быть подстрелена раньше... Парень решил поставить вопрос прямо. Коли любит Петыря — так и конец всему, а если ещё можно — он употребит все усилия. Он не будет молчать более. Он всё ей скажет.

Однако он боролся сам с собою и медлил больше недели. Но весна всё сильнее волновала его кровь, её чары опьянили его и пересилили робость. Они дали ему язык и смелость, и он решил объяснить всё Одэ. Он знал, что она каждый день носит пищу отцу, работавшему в лесу, и стал её подкарауливать. Но три дня он напрасно ждал её. Она почему-то не приходила. Сегодня он в четвёртый раз вышел на свой пост и, стоя на бугре, увидел издалека фигуру Одэ. Он лежал теперь в ожидании её приближения.

Вот раздался невдалеке треск сухого валежника под чьими-то шагами. Через несколько мгновений и шаги стали явственнее. Ещё никого не было видно, когда раздался уже совсем близко, за купою сосен, женский голос, певучий и мелодичный, как лесной поток. Он пел одну из зырянских песен, что-то вроде гимна красоте и ловкости молодого охотника. Звуки этого голоса нарушили спокойствие

Пэдэра. Страсть мелькнула в его глазах и нервной дрожью пробежала по всему телу, отразилась на лице, заливши его волною здоровой крови.

Он быстро поднялся с земли и соскочил с бугра. В эту минуту из-за сосен, по тропинке, показалась высокая статная девушка лет семнадцати, в белой холщовой рубашке с ситцевыми рукавами, сверх которой был накинут ситцевый же сарафан. Голову прикрывал яркий платок, из-под него спускалась густая русая коса, с вплетённой в неё голубую ленту. Девушка несла в одной руке небольшую корзину, а другую помахивала в такт. Пэдэр остановился на тропинке, впиваясь глазами в приближавшуюся девушку. Она шла, сперва не замечая его, продолжая петь. Но вот она подняла голову, увидела парня и остановилась. Одно мгновение — и тёмные брови, правильными дугами расположенные над выразительными чёрными глазами, нахмурились. Но они сейчас же разгладились как бы под влиянием другой мысли, прогнавшей первую, и девушка, хлопнув себя по ноге свободною рукою, воскликнула насмешливо:

— Ты что тут караулишь, лесной красавец? Уж не меня ли ждёшь?

Она подошла близко к парню и, смеясь, хотела пройти далее, но Пэдэр заступил ей дорогу своей мощной фигурой.

— Одэ,— промолвил он таким тоном, будто одним этим словом хотел выразить всё, что таилось у него в душе.

— Что тебе? — кинула девушка.

— Одэ, выслушай меня.

Он попробовал было положить руку на плечо девушке, но она отстранилась от него, воскликнув с грубой насмешкой:

— Куда полез? Плечо отломишь, чёрная немочь. Ну, чего там ещё? Говори скорее, мне недосуг, да и не сладко говорить-то с тобою...

— Одэ,— промолвил парень как бы с трудом, призывая на помощь всю смелость и не слыша только что сказанной резкости.— Одэ, выходи за меня!

Девушка громко захохотала.

— Ах, чучело лесное, да ты, никак, с ума сошёл! — воскликнула она с явным пренебрежением.— Аль ты распотешить меня хочешь?

Этот хохот нервно передёрнул личные мускулы Пэдэра, но он подавил в себе всю боль, почувствованную от насмешки, а промолвил мягко, тоном кроткой мольбы:

— Одэ, не до шуток мне теперь. И зачем ты говоришь так? Твои слова язвят моё сердце больше, чем пули.

— Так ты и вправду это!— удивилась девушка.

— Кто ж в шутку говорит так? Я давно хотел сказать, давно...

— Так вот зачем ты ходил всюду за мной. Ах ты, медведь, медведь!

Одэ покачала головою с пренебрежительностью и снова расхохоталась.

— О!— воскликнула она вдруг.— И он меня спрашивает. Да что тут ещё: такой красавец — и не выходить за него! Одна нога тяжелей медвежьей туши... Где сыскать другого такого красавца писаного. Разве что Яг-Морт был лучше тебя.

Каждое слово Одэ, как раскалённые щипцы, ущемляло сердце парня.

— Одэ, Одэ,— меняясь в лице, перебил он,— не бей птицы, связавши ей крылья! Ты много уж раз обижала меня... За что? За что? Но я не помню тебе за это... Я, видишь, говорю тебе прямо. Что ж худого говорю я? О, тебе хорошо будет. Я не пьяница. Я умею работать. Не пожалею себя для тебя. Я сошью тебе шубку из чистых лисиц. Из урок шубку сошью. Я схожу за Камень и добуду тебе соболя. Все леса

исхожу — а уж добуду. Ты не будешь знать качи. Ты не веришь? — воскликнул он, принявши насмешливый взгляд девушки за выражение недоверия. — Ты не веришь? О, я не лгу, Одэ! Я не умею лгать. Что обещаю — я то исполню.

Он выпрямился, и сознание внутреннего достоинства сообщило его нескладной фигуре какое-то своеобразное благородство.

— Ты говоришь, что я медведь, — произнёс он с горечью. — Что ж, медведь не волк и не лисица, Одэ! Медведь — честный зверь! Он не знает лжи, прямо идёт на охотника. На него можно больше положиться, чем на волка. Волк — подлый зверь, хотя быстрый и ловкий. Я не волк, Одэ!

— Будет тебе хвалиться-то, — перебила его вдруг девушка, — откуда слова взялись! Всё время молчал, только ходил, словно тень какая, за мной, а тут и язык объявился.

— То не язык говорит, Одэ, — вырвалось у Пэдэра, — сердце моё говорит! Полонила ты его, словно птицу в силки. Отняла у меня сон и разум.

— Оно и видно, — засмеялась девушка. — Был бы разум, не стал бы приставать с такими речами. Ишь, расписал как себя. Бел снег, да не вкусен. Слышал? И ты тоже: хорош, да не люб!

— Отчего это, Одэ?

— Вот дурень! Да оттого, что не по сердцу. Отчего малиновка не ластит вóрона аль лисица медведя?

— Не пара, стало быть, я тебе?

— А то что ж ты думал? — дерзко кинула Одэ. — Пара мне? Может, ты давно не видал себя? Ступай-ка, поглядишь в речку лучше!

И она окинула с презрительным пренебрежением фигуру парня, который, действительно, являлся полным контрастом с нею.

Кача (зырянск.) — хлеб из пихтовой коры. (Примечание автора.)

Ластить — ласкать.

Статная, высокая, с полным лицом, с небольшим, но красивым лбом, со щеками, на которых заревом пылал румянец, с полными малиновыми губами, при разговоре обнажавшими два ряда крепких, будто слоновой кости, изжелта-белых зубов, Одэ была положительной красавицей. Когда она смеялась, на щеках образовывались соблазнительные ямочки. От всей фигуры лесной красавицы веяло энергией и силой. Сознание своей красоты жило в душе Одэ и выражалось в гордой, уверенной поступи, в свободных, ловких движениях и в резком тоне, который усвоила она вообще по отношению мужчин. Одинаковым тоном говорила она и с Петырем, как бы боясь иначе дать ему возможность считать себя победителем. И этот тон с человеком, который ей нравился, всего более сбивал с толку простого, доверчивого Пэдэра.

Дерзкий вызов, брошенный теперь девушкою прямо в лицо парню, ошеломил его на миг; Одэ удалилась уже на несколько шагов, когда он встрепенулся и быстрыми, неуклюжими прыжками бросился за ней вдогонку и остановил её.

— Да что ты, ошалел, в самом деле?— уже сердито крикнула девушка.— Ночевать, что ли, с тобой в лесу? Что вздумал!

— Одэ,— прерывающимся голосом промолвил парень,— так ты не хочешь? Говори прямо.

Девушка посмотрела на него глазами, полными недоумения.

— Да ты, я вижу, глупее, чем я думала,— сказала она с досадою.— Уж объявила ведь. Да и не видишь разве сам: кабы согласилась, не так говорила бы с тобой!

— Так не пойдёшь, нет? А за него пойдёшь?— выкрикнул Пэдэр, и глаза его сверкнули.

— Про кого это ты говоришь? С чьего голоса поёшь?— спросила Одэ.

— Сам знаю,— глухо отозвался парень.

— Что же ты знаешь?— наступила на него девушка.— Ну, говори.

— Что знаю?— воскликнул Пэдэр с оттенком отчаяния и злобы.— А то, что тебя хочет сватать Петырь, вот что!

— Ну что ж, коли хочет... Пускай сватает.

— И ты пойдёшь?

— А может, и пойду, отчего нет?— вызывающе проговорила Одэ, с дерзкой, насмешливой улыбкой глядя в лицо парня.

— Пойдёшь?

— Пойду! — уже утвердительно и ещё более вызывающе повторила Одэ.— Ведь он не чета тебе. Он строен, как сонна; крепок, как кедр; ловок, как урка. Его взгляд остёр, как взгляд ястреба. Он румян и ясен, как заря; гибок, как лоза, а ты, ты!..

— Замолчи! — закричал Пэдэр, задыхаясь и хватая за руку Одэ.— Замолчи, а то худо будет!

Глаза его метнули молнии и зрачки округлились.

— О, да никак ты запугать хочешь?— захохотала девушка.— Не на такую напал! Русскую бы пугал лучше. Я не пуглива. Ишь, Яг-Морт какой: и с лаской-то постыл, а он ещё с угрозой... Пусти, медведь!

Она вырвала у него руку и пошла.

— Нет, ты не пойдёшь за этого волка,— закричал Пэдэр,— я не пущу тебя!

Она остановилась и обернулась лицом к нему. Вся её фигура теперь олицетворяла собою вызов.

— Ты? Непустишь?— произнесла она, едва владея собою.— Хотела бы я посмотреть, что ты сделаешь мне.

— Не тебе... нет...

— Кому же?

Она подошла ближе.

— Я... Я... убью его! — выговорил Пэдэр с яростью.

Девушка задрожала, но не от испуга, а от злобы, подошла совсем близко к парню, впилась в него глазами, полными презрения и ненависти.

— Что ты сказал? Ты убьёшь Петыря? Да? Так что же ты, думаешь, тогда я пойду за тебя? Да я умру сама, а уж

задушу тебя... вот этими самыми руками задавлю тебя. Слышишь?

Корзина выскользнула на землю при этой фразе, которую Одэ произнесла почти шёпотом, хотя ей казалось, что она крикнула громко. Вся взволнованная, тяжело дыша, она быстро подняла корзину с земли и крупными шагами пошла вперёд.

Пэдэр стоял несколько минут на одном месте, понурив голову. Потом он поднял глаза, каким-то страстно-отчаянным взглядом посмотрел на удалявшуюся Одэ и бросился снова за нею.

— Одэ, Одэ! — воскликнул он, подбегая к девушке. — Прости, не сердись. Не я сказал это, не я — горе моё вызвало эти слова. Одэ! — продолжал он тем же молящим и страстным голосом, идя с нею рядом. — Не ходи за Петыря, не ходи. Он лентяй, он лукав, как лиса, вероломен, как волк. Тебе худо будет с ним. Он красив, Одэ, но не все травы в лесу красивые полезны... Яд во многих... Он убьёт тебя, лаская. Он изменой иссушит тебя, слёзы состарят тебя. Он будет тебя кормить качей... Пропадёт твоя красота, силы и здоровье — украдёт он. За что ты будешь любить его? За что отдашь ему свою красоту? Он волк, волк... беги его!

Пэдэр остановился и хотел удержать девушку.

— Прочь, проклятый! — закричала Одэ с отвращением. — Я не могу видеть тебя более! Уйди! Я умру скорее, чем выйду за тебя. Что мне твои ласки, когда они хуже побоев. Любить тебя... о, никогда! Лучше смерть от голода. Знай, — вдруг промолвила она, останавливаясь, устремив на Пэдэра в упор горящий, злобный взгляд, — знай, что я скорее умру и убью себя, чем сделаюсь твоей женой. Не подумай сватать и уластить отца.

И она снова задрожала при одной мысли о возможности подневольных ласк, задрожала, охваченная ужасом отвращения.

Она сказала это прерывающимся голосом и пошла. Пэдэр не двигался. Его лицо перекосилось, глаза загорелись

страшной злобой, но не той, которая вонзает нож в сердце врага, а злобой, способной долго таиться, выжидать и уже затем с наслаждением упиться чувством мщения.

— О, погоди же! — чуть слышно, бледными, дрожащими губами прошептал Пэдэр.

Постояв с минуту на месте, он повернул в сторону и пошёл в чащу, с каким-то ожесточением ломая ветви, попадавшиеся ему на пути. Ему казалось, что он ломает что-то живое, чувствующее боль, и это доставляло ему сладкое удовлетворение.

Вернувшись к полудню домой, Пэдэр отказался от обеда. Сказавши домашним (он жил с сестрой-вдовой и племянником), что пойдёт пострелять, он вскинул на плечо винтовку и ушёл в лес. Четыре дня бродил он из конца в конец по лесному раздолью; он бил всё, что ни попадалось ему на глаза; бил не ради добычи, но чувствуя непреодолимую потребность бить, пролить кровь, точно ею хотел залить огонь, который разожгла в нём Одэ своим отказом, своими ядовитыми, резкими речами. Пэдэр не чувствовал усталости и целый день ничего не ел. У него два раза мелькнула мысль — вернуться в посёлок и убить Петыря, и каждый раз его удерживало чувство любви к Одэ. Он любил её и хотел отомстить ей. Любовь не позволяла убить Петыря, потому что это могло убить и Одэ. Он не хотел её смерти. Но чувство мести также возвышало свой голос. Бродя по лесу, стреляя и зверя, и птицу, отдыхая на берегу ручья, на лесных пригорках, Пэдэр думал об одном: как отомстить гордой красавице?

— Она отказала мне, она предпочла Петыря. Надо сделать так, чтобы она пожалела об этом. Но как сделать?

Мысль работала в одном направлении, и вдруг в тот самый миг, как Пэдэр заряжал ружьё, чтобы подстрелить дикую утку, в его голове мелькнул план мести; Пэдэр забыл о звере и опустил винтовку на землю.

— В самом деле, так хорошо! — мысленно прошептал он. — Да, хорошо. Уйти далеко-далеко, чтобы не видеть её

счастья, не беречь раны, уйти и работать. Работать без отдыха, не знать праздника, разгула, от всего отказаться, во всём себя сдерживать. Работать и копить деньги! А потом...

Его глаза заблестали от удовольствия.

— А потом,— рассуждал он про себя,— накопить денег, явиться на родину. Пускай Одэ очень красива... — Его сердце сжалось от резкой боли при этом.— Пускай Одэ красивее всех, но всё же не она одна. Есть же красивые девицы. Взять себе жену и зажить на зависть всем, а главное, на зависть ей, Одэ. Петырь лентяй. Петырь мот. Одэ не может быть с ним счастлива. Он скоро её разлюбит. Она будет жить в бедности, пожалуй, в нищете. А он оденет свою жену лучше всех. Он её «окутает в лисицу». Он не даст ей омочить рук в воду. Пусть всё видит Одэ и завидует, прокликает свою долю, терзается от того, что отвергла его, Пэдэра. Он увидит её мучения, её в лохмотьях и полуголодную, её — гордую, дерзкую красавицу. Увидит и упьётся её унижением, отомстит за всё, что вынес теперь от неё. О, как хорошо это!

Парень злобно захохотал и будто почувствовал облегчение от горя, от той раны, которая ныла и горела в его груди. Чем более он думал, тем сильнее укреплялась в нём мысль и тем более он успокаивался.

На пятый день он направился к дому.

Злой судьбе захотелось ещё раз нанести острый удар Пэдэру. В то самое время, когда он подходил к лесной опушке, за кустами он услышал чей-то тихий говор. Голос показался ему знакомым; он остановился как вкопанный. Через минуту до его слуха донеслись слова Одэ:

— Ещё что надумал... Нашёл к кому ревновать! Да ты больно-то воли не забирай. Коли хочю — люблю тебя, а нет — только и видел...

В ответ послышался тихий шёпот и затем раздался сочный поцелуй.

Дико загорелись глаза Пэдэра, и он с ловкостью кошки, тихо, неслышно подкрался к кустам.

На траве сидела Одэ, и рядом с нею, обнявши её, Петырь — высокий, стройный парень, с белым румяным лицом, обрамлённым целою шапкою чёрных кудрей. Красивые дуги чёрных бровей резко оттеняли белизну и свежесть его молодого лица. Он глядел страстными глазами на Одэ, во взгляде и лице которой, несмотря на сказанную фразу, светилась тоже кипучая страсть. Девушка разгорелась, её щеки пылали, полная грудь высоко подымалась под тонкой холщовой рубахой.

Их губы снова слились в горячий, долгий поцелуй...

Ещё минута — и Пэдэр, может быть, забыл бы о своём плане. Он уже осторожно снял винтовку с плеча...

Но в этот миг Одэ, отстранившись от Петыря, промолвила громко:

— Однако пора. Отец ждёт меня давно.

И она поднялась, а за нею встал Петырь...

Они обнялись и пошли по тропе в лес. Вскочивший Пэдэр скинул винтовку, провожая их ревнивыми глазами. Ему нельзя было выстрелить. Одэ закрывала собою парня настолько, что в неё легко могла попасть пуля. А пока Пэдэр выжидал, мысль о другой мести снова взяла верх над мгновенною вспышкой страсти.

— Нет, нет, не надо. Потом, после, — произнёс он вслух, надевая винтовку на плечо. Тяжело дыша, он направился к дому. Через два дня он покинул посёлок.

III

Зырянские керки строятся исключительно из соснового леса и кроются на два ската. К лицевой стороне керки пристраивается крыльцо, большею частью на столбцах. От крыльца входят в широкие сени, которые, как коридор, разделяют две избы, состоящие из особых срубов. Со стороны крыльца они забираются бревенчатую стеною,

а с противоположной стороны нередко открыты. Печь в избе, битая из глины, лежанкой упирается в противоположный переднему угол, который освещается особым окном, называемым падчер-ошен. Оно очень практично: в избе от него гораздо светлее, да и можно у него что-нибудь работать, например, женщины шьют; поэтому в зимнее время нередко в избе, если семья большая, горят два света: внизу и вверху; керки настолько велики и высоки, что на полатях и на печке свободно может стать взрослый человек.

Точно такая же керка, по общему типу, возводилась на месте старой и развалившейся в небольшом посёлке. Только керка строилась массивнее всех своих соседей и украшалась кое-какими узорами чисто русского характера. Всякий раз, когда обитатели посёлка проходили мимо строившейся керки, они останавливались у неё ненадолго и молча глядели на работу трёх здоровых мужчин, из которых один был сам хозяин возникавшего жилья.

— И повезло же ему,— замечал кто-нибудь коротко.

— Да,— ещё короче слышалось в ответ.

Случалось, что сам хозяин, оторвавшись на время от работы, подымал голову и замечал прохожих. Тогда они, с лёгким поклоном, не меняя выражения лица, спокойно говорили громко:

— Помоги тебе святой Стефан!

— Будь и он с вами,— отвечал хозяин, кланялся, не снимая шапки, и снова принимался за работу.

Она кипела быстро. Слово и не три человека работали, а целая артель. Хозяин, молчаливый и сосредоточенный в себе, мало разговаривал, но хлопотал энергично, работал не уставая, точно спешил куда, точно с окончанием керки должно было настать для него земное счастье, или он держал спор и строил, чтобы выиграть пари. Его суровая, широкая и неуклюжая фигура вся дышала энергией; топор, как бы живой, стучал по брёвнам. Рано подымался хозяин и, не дожидаясь рабочих, уже возился на постройке. И только

когда вся работа утихала и ночь опускалась на землю, он уходил в маленький срубленный шалашик, чтобы сном подкрепить свои силы. В первое время — а постройка началась рано весной — он сейчас же ложился спать, и вставая с утренней зарёй, сразу принимался за работу. Но затем с вечера, прежде чем лечь, он около часа проводил в раздумьи, сидя у стола или выходя на улицу и смотря куда-то вдаль. И с каждым днём всё сильнее и сильнее охватывали его думы, он начал просиживать на улице по целым часам, задумываясь нередко на работах, и в его хлопотливой энергии стало замечаться то намеренное, будто он хотел работою разогнать неотвязные мысли.

Но они властно владели им. Принявшийся жадно за постройку, он её кончал с заметною апатией, точно в его душе свило гнездо сознание сделанной ошибки. Однако и в эту пору выпадали дни, когда он оживлялся по-прежнему, в глазах начинало светиться то же упорство, то же торжествующее чувство, с которым он принялся за дело и которое торопило его, руководя всеми действиями с первого шага. Полный этого чувства, остановился он против своей керки, когда она была вся готова, когда последний гвоздь был уже вколочен на своё место. Как полководец, выигравший битву, взявший неприступную крепость, вошёл он по неубраным ещё «лесам» на крышу керки, торжествующим взором обвёл вокруг себя и затем устремил его по направлению бора. Его губы были сжаты, и на них застыла победная, злобно-радостная улыбка.

— Достиг, недаром десять лет не знал отдыха... Вот теперь можно будет насладиться.

Он ещё продолжал смотреть на дремучий бор, когда вдруг страшная мысль, уже давно смущавшая его покой и ослаблявшая энергию, во всей своей силе восстала в его сознании. Точно кто-то захотел зло посмеяться над ним и в тот самый момент, когда он хотел праздновать победу, поднёс ему кубок с ядом.

— Насладиться? Ты думаешь насладиться?— заговорил внутренний голос.— Да разве ты найдёшь счастье? Не дом, а гроб выстроил ты себе. Гроб, гроб, и в нём ты похоронишь самого себя.

Ужас охватил взрослого, сильного зырянина, и, точно толкаемый неведомой силой, он сбежал по качавшимся доскам на землю. Он спустился на одно из лежавших брёвен. Лицо его сделалось мрачно, глаза потухли, с губ исчезла торжествующая, злобная улыбка.

— Это верно, верно,— продолжал внутренний голос,— не найдёшь ты счастья.

Он нервно передёрнул плечами, поднял голову и сейчас же снова опустил её, облокотясь на колени.

И вот перед ним пронеслось всё прошлое.

Оскорблённый, униженный, он бросает свою деревню и идёт на чужбину, полный одного желания отомстить той, которая так безжалостно посмеялась над ним. Это чувство было его единственным другом в одиночестве, в длинной дороге в течение десятилетней трудовой, можно сказать каторжной, жизни. Десять лет непрерывного труда на барках и пароходах, на заводе и в плотничьей артели, в дыму кузницы и среди землекопов. Десять лет один среди толпы, один со своим чувством, которое только и утешало в разлуке с родиной, поддерживало в невзгодах, сообщало ему силу и терпение. Он не забыл её, нанёсшую ему рану в сердце, нет: воспоминание о ней доставляло ему наслаждение. И чем далее шло время, чем ближе подходил к цели, тем чаще любил думать о ней, уже предвкушая наслаждение.

Ему дивились все его товарищи.

— Это не человек, а чёрт,— говорили одни.

— И когда он спит? — спрашивали другие.

— Он из железа,— соглашались все.

Они не знали его тайны. Не знали, что не железные мускулы делали его упорным, а то чувство, которое жило в его сердце и питало его нечеловеческую энергию.

И вот прошло десять лет. Это большой срок в человеческой жизни. Друзья делаются врагами, любящие сердца возгораются злобою. Нередко картина изменяется настолько, что её совершенно нельзя узнать... За эти годы он, покинувший родину ради мести, постарел и согнулся, за это время он потерял сестру, умершую от оспы, и племянника, задранного медведем на охоте. Обе вести он встретил не без грусти, но как-то апатично, словно чувство, прогнавшее на чужбину, настолько овладело им, что убило в нём все остальные чувства. Он знал, что та, которая потоптала его любовь, несчастна в замужестве: бедность и беспутство мужа выпали ей на долю... Его предсказания сбылись, и он был рад этому. Пусть, пусть... Он покажет ей, чего она лишилась, что оттолкнула от себя.

Он уже достаточно прикопил денег, и его потянуло на родину, по которой он давно скучал. Где бы ни был зырянин, как бы ни было хорошо ему на чужбине, но при первой возможности он спешит вернуться под родные сосны.

Получивши расчёт, он возвращался на родину с нажитым капиталом и со старой мезьей в груди. Момент, которого он ждал, ждал так долго и жадно, приближался. Он почти достиг уже цели. Он в состоянии выстроить хорошенькую керку; для него найдётся молодая жена; он заживёт богато, на зависть гордой красавице, отвергнувшей его десять лет назад и теперь переносящей нужду, пьянство и измену мужа. О, как же он отомстит ей за все свои унижения! Он ничего не пожалеет для той, которую возьмёт в жёны. Он оденет её лучше всех! Он заведёт пару лошадей. Будет кататься с ней. Он наймёт работницу, заведёт полное хозяйство. Пусть, пусть та терзается от зависти и позднего раскаяния. Неужели она так любит мужа, что не пожалеет и теперь? Не может быть! Она горько раскается за прошлое...

Но найдёт ли он по сердцу жену себе? Будет ли он любить её? — мелькнула у него мысль, когда он торопливой походкой приближался к родному посёлку.

О, что за важность! Отчего не полюбить молодой жены? Да и зачем ему любить? Разве это важно теперь? Ему нужно только отомстить за своё оскорбление! Не в любви, так в мести он найдёт себе усладу. Месть заменит ему радости любви... Вся его любовь к оскорбившей красавице переродилась в мечь. Он десять лет сознавал это и сознаёт теперь. Она же именно, она всё-таки даст счастье. Если не в любви, так в отмщении — но счастье! И это он получит через неё. Да, да.

Он на родине. Один, совсем один. Сгорбленный, постаревший, годный в отцы тем девушкам, которые десять лет тому назад были его сверстницами и теперь могли бы быть жёнами... Он не хочет идти туда, где живёт его обидчица в нужде, в разлуке с мужем, ушедшим уже более года куда-то и не подающим о себе известия. Он торопливо принимается за постройку керки и весь уходит в занятия. Он не ищет жены... Зачем? Долго ли это сделать? Ему ведь всё равно, кто и где... Он никого не любит...

Постройка растёт. Но странное дело, чем дальше подвигается она, тем задумчивее и сумрачнее становится её владелец. Невольная мысль, доселе как-то притаившаяся на дне души, вдруг пробуждается и начинает тревожить его. Он жил мечью, для неё ушёл далеко, и вот теперь, когда он почти у цели, он вдруг начинает сознавать, что эта мечь едва ли даст ему удовлетворение и то наслаждение, для которого он так много терпел.

Как? А для чего же он убил десять лет в трудах, для чего он эти десять лет не знал ни покоя, ни удовольствий? Для чего он состарился прежде времени и согнулся под тяжестью этих десяти лет?

Он испугался такого сознания и хотел убедить себя, что всё это ложь, заставил себя с ещё большею энергиею уйти в работу по постройке. Он думал намеренно разжечь в себе ещё сильнее чувство мести. Напрасно! Ужасная мысль всё более и более овладевала им.

— Нет, нет, — развивалась она в уме, — ты не добьёшься счастья, не даст тебе его мечь! Ты выстроишь дом — хорошо... Что же дальше? Кого ты введёшь в него? Чужую женщину, далёкую твоему сердцу, которая выйдет за тебя ради твоих достатков, но которая не будет и не может любить тебя, постаревшего, годного ей в отцы. Что же даст тебе семья? Ты будешь один в этом доме, один, связанный вечно с женщиной, тебя не любящей и тебе чужой. Ты не керку выстроил себе, а гроб, и в нём ты похоронишь своё счастье! Вот если бы ввёл в дом её, Одэ! Не лги: ты ненавидишь её? Да, но не оттого ли так сильно и ненавидишь, что безумно любил раньше и до сих пор ещё не изгнал любви из сердца? Не любовь ли прикрылась ненавистью? Разве тебе не жаль её? Разве ты будешь вполне счастлив, заставив её завидовать и страдать? Пусть она будет ломать руки, проклиная свой поступок, — что тебе? Довольно ли этого с тебя? Вот если бы ты мог стать снова вполне счастливым, если бы в керку ввёл ты покой и любовь, тогда бы... Но ведь ничего этого не будет у тебя! Насладишься ли ты одною мечью? Может быть, сначала она и доставит наслаждение... Пусть так, а затем? Потом ты всё-таки один, и уж мечь перестанет доставлять тебе наслаждение. Что же останется для тебя? Что? Кем и чем будешь жить, для чего жить? Гроб, гроб...

Чем дальше, тем неотвязнее делались эти мысли. После минутного торжества над ними ещё более подпадал он под их влияние. Но вот всё готово... Он почти у цели... И вдруг, в тот самый момент, когда он должен праздновать начало победы, ужасная мысль во всей силе восстала в сознании, всего охватила его. И эти слова: «Гроб, гроб, а не керка», так громко прозвучали в его ушах, что ему показалось, будто их кто-то крикнул в воздухе. Он сбежал с верху керки и опустился в изнеможении на бревно. Он сидел убитый, раздавленный роковым сознанием. Для чего же, для чего он столько перенёс? Жить десять лет одною мечью,

терпеть, бороться, спешить домой, чтобы насладиться за долгие муки, почти всего уже достичь — и вдруг... О, что за новая насмешка! Что за страшное мучение! Что делать? Привести в исполнение? Нет, нет! Но... Его голова пошла кругом. словно кто сжал её клещами. Сердце готово было разорваться от глухих, отчаянных рыданий.

— Что же это такое?— воскликнул он.

Он поднял голову и вздрогнул. К нему подходила бедно одетая женщина, ведя за руку маленькую девочку. Он узнал в ней ту, которая зажгла в его сердце любовь, превратившуюся в месть.

Он не узнал, а скорее сердцем почувствовал, что это она: так сильно изменилась гордая лесная красавица за десять лет.

IV

Перед ним остановилась сухощавая женщина с плоской грудью, с жёлтым лицом, по которому нужда и кручина провели длинные морщины. Свежего, пленительного румянца не осталось и следа. И только взгляд чёрных глаз остался прежний, да так же хороши были дугообразные брови.

Как уколотый, вскочил он с бревна и точно замер, впившись глазами в женщину. Прошло всего одно мгновение, прежде чем она заговорила, но в это мгновение беспорядочным вихрем пронеслось в его памяти всё прошлое, что было десять лет назад и в эти годы; сердце как бы успело в этот миг пережить и всю любовь, и все унижения, отозвалось биением на страсть и ненависть. Чувства самые разнородные, борясь между собою, сменяли друг друга, перепутали все мысли. Всё это выразилось в игре личных мускулов, в блеске глаз. Взволновало и потрясло всего его. Он хотел что-то сказать и не мог, точно лишился способности говорить.

— Пэдэр!— тихо вымолвила женщина.

Её всё ещё мелодичный по-прежнему голос ласкал слух, напоминая прошлое.

Что-то резнуло, укололо его сердце, и вдруг этот укол будто разбудил мстительное чувство, притихшее и побеждённое недавними мыслями.

Женщина робко, покорно заговорила, она не молила о прощении, но самая её речь была уже этою мольбою. Она могла тронуть самого холодного человека, и между тем произвела совершенно противное действие на того, к кому она относилась. Чем более он смотрел на женщину, тем суровее делалось выражение его лица, тем злобнее становился блеск его глаз. Он чувствовал, что с каждым её словом точно входит в его сердце новая капля желчи, словно каждый звук её голоса рвал на части его сердце, и что-то внутри его требовало отмщения за эту боль, за это мучительное ощущение. Перед ним стояла она — его Одэ, за которую десять лет тому назад он был готов отдать жизнь и которую возненавидел потом всею душой. Недавно, за несколько минут до её прихода, сидя на бревне, он сознавал, что месть не даст ему счастья, что напрасно столь многим пожертвовал он ей. А теперь вдруг он почувствовал, что в мести глубокое, невыразимое счастье, и он жадно захотел испытать это наслаждение мести. Всё потухло и замерло, кроме мстительного чувства. Он слышал только один его голос. Ни эти бледные черты измождённого, когда-то милого лица, ни эти звуки дорогого некогда голоса, ни прелестное личико девочки — ничто не в силах было победить этот голос. Напротив! Всё это точно ещё более раздувало в его сердце пламя злобы!

Его была лихорадка, когда он, сделав шаг вперёд, промолвил с оттенком злорадства в голосе:

— Так вот как мы свиделись, Одэ! Как я говорил, так и случилось. Ты пришла ко мне... Сама... Ты, променявшая меня на лукавого волка, на хищного ястреба, который заклевал тебя, высосал твою кровь и бросил! Ты говоришь, что он ушёл и вот уже более года нет его, — продолжал

Пэдэр, и голос его сделался громче и резче, — что же не пошла за ним? Что же ты не отправляешься искать его по лесам? Может быть, уже его нет? Вороны клюют его чёрные глаза, которые ты так любила... Волки рвут на части его белое красивое тело? Что же ты медлишь? Иди, иди! Обними его, целуй, авось твои ласки оживят его! — вдруг уже закричал Пэдэр, и жилы на его лице напряжились, налились кровью, глаза сверкнули бешеной злобой. — Иди туда. Оставь медведя и постылого Пэдэра. Зачем ты пришла к нему и привела ребёнка, прижитого с волком? Или, может быть, ты ещё мало насмеялась, так ещё хочешь? Пришла показать дитя, в жилах которого течёт кровь твоего ястреба? За этим пришла? Да?

Он делался страшен от злобы, перекосившей его лицо и залившей глаза кровью.

Одэ опустила голову и молчала. Девочка плотно прижалась к ней, ухватившись руками за платье.

— Зачем ты пришла? — заговорил снова Пэдэр дрожащим голосом, всё более и более поддаваясь охватившему его чувству. — Зачем? Или ты думаешь, что медведь верный, честный зверь и всё ещё любит красавицу? Да? Ха-ха-ха! — захохотал он дико. — Красавица? Где она? Где твоя красота, Одэ? На кого тыходишь? Ты старуха, ты хуже меня. Он украл твою красоту, украл твои силы, здоровье и... бросил! И ты пришла ко мне теперь, потому что медведю, уроду, что надо? Всё годится! Он рад будет... Ха-ха-ха! Нет, ошиблась, Одэ, ошиблась! Не нужно мне тебя, не нужно. На тебе ещё видны следы его поцелуев. Помнишь, ты посылала меня на реку посмотреться. Посмотришь сама теперь. Твоё лицо пожелтело, кости выставились. Это он, волк, съел твоё мясо. От его поцелуев ты желта. Он заласкал, зацеловал тебя своими волчьими губами, ха-ха-ха!

Голос его пресёкся, и он не мог продолжать.

— Я не затем пришла. Ты несправедливо говоришь, — возразила Одэ тихо, с болью в голосе. — Зачем я тебе? Ты —

не волк, сам говоришь. Ты не возьмёшь чужого, как всякий честный зырянин... Зачем? В наших лесах ещё много дичи и зверя... В керках немало красивых девиц. Я сказала, зачем пришла! Ты знаешь, как теперь мало хлеба. Кача, кача... Ах, не себе прошу! Нет, нет! — воскликнула она, заметив движение Пэдэра. — Я ей, ей только (она показала рукой на девочку). Она не вынесет качи. Она ни в чём не виновата, Пэдэр. Дочь за мать не отвечает. Прости, что я оскорбила тебя тогда... но я достаточно наказана. Я прошу за ребёнка!

— За ребёнка? — воскликнул Пэдэр. — А разве это не его ребёнок? Разве не он обязан его кормить? И зачем ты пришла ко мне?.. Отчего не к другим?

— К кому идти? — ответила Одэ, вздыхая. — У всех наших мало... у всех семья... А ты один... и богат, — закончила она медленно и с горечью в дрожащем голосе.

— Богат? Один? — протянул Пэдэр, сверкая глазами. — А, ты узнала! Ты это узнала, и не спросишь, как легко досталось мне богатство? Каково жилось медведю те годы, когда ты ласкала на мягкой груди хищного ястреба?.. Богат! Один! А разве я должен вечно оставаться один? Для тебя разве я копил деньги? Богат, и пришла!

— Поверь, — перебила его Одэ, и в её голосе прозвучало что-то похожее на старую гордость, — поверь, Пэдэр, если бы я была одна, я бы ни за что не пришла, но вот она... для неё... ради ребёнка...

— Что мне за дело до неё! — закричал Пэдэр, весь дрожа. — Что мне до того, что она умрёт! Пусть, пусть издыхает волчье отродье, пусть это терзает тебя... Что мне? Разве ты пожалела меня тогда? Что мне тебя жалеть? Я говорил, что ты погибнешь, так и вышло! Тебе нечем накормить ребёнка. А будь это мой (он остановился на один миг от волнения), будь мой, говорю, я бы нашёл... Да!.. А теперь... Теперь ничего нет у меня, ничего... Уйди! Уйдите прочь!

Он сделал жест рукою, как бы отталкивая их.

Одэ подняла на него свои чёрные глаза, и их взгляды встретились.

— Пэдэр,— проговорила она с видимым трудом,— мы с тобой расплатились: я оскорбила тебя тогда... Так!.. Теперь ты снова отплатил мне. Ты прав. Суди Бог и святой Стефан нас обоих! Но ты, ты не дашь умереть ей... Нет, ты не отдашь смерти моего ребёнка... Это моё дитя, не только его, но и моё, Пэдэр. Посмотри на неё! — вся трепещущая, воскликнула Одэ, выталкивая вперёд девочку.— Разве это не я? Разве у ней есть хоть одна черта его? Пэдэр, Пэдэр,— со слезами воскликнула она,— это дитя моё, твоей Одэ! Неужели ты отнимешь его у меня?

И она упала на колени, рыдая.

— Мама, мама! — заплакала девочка и ухватилась за шею Одэ.

Пэдэр почувствовал, что он задыхается. Кровь бросилась в голову, а сердце мучительно заныло, сжалось от боли — и любовь, та любовь, которая замолкла в нём, придавленная злобой, вдруг воскресла, воспрянула и горячей волной залила всё существо. Эта волна согрела душу, пробудила её и затушила злобу. Она вылилась вся в ядовитых речах. Месть удовлетворилась... и заговорила любовь... Пэдэр почувствовал снова, что ему близка эта бедная, убитая нуждою женщина. Ему больно стало, что он так терзал её словами, её, и без того истерзанную нуждою, хитрым, подлым волком. Но он и сам не знает, как это случилось. Он увидел её такою, и ему стало сразу больно. Но ведь это произошло оттого, что она предпочла Петыря! Эта мысль больше, чем воспоминание о прошлых муках и унижении, подняла в душе Пэдэра накопившуюся злобу. Когда же она овладела им, он уже не принадлежал себе, он был весь в её власти, её рабом. И она диктовала ему ядовитые речи, — она, злоба, говорила его языком! А теперь? Теперь...

Он вдруг схватился обеими руками за голову и сам зарыдал.

— Одэ, Одэ! — только и мог выговорить он.

Одэ с дочерью перешла жить в керку Пэдэра. Он сдал ей всё хозяйство. Вот уже прошёл год — он не женился и

не думает жениться... Но Одэ ему не жена. Он ласков с нею, но говорит мало, мало бывает и дома. Девочка привыкла к нему. Он любит держать её на коленях. Но ни разу не поцеловал её. Случается, он долго, долго смотрит на девочку, затем вдруг спускает её со своих колен и отрывисто, глухо говорит ей:

— Уходи, уходи скорей, Лузя!

И его лицо, за минуту ещё доброе и ласковое, делается мрачным и злым.

Он тяжело, глубоко вздыхает и, захвативши винтовку, на несколько дней уходит в лес.

О Петыре — никакого слуха.



ГЕНИАЛЬНЫЙ ПОМОР

Очерк жизни М. В. Ломоносова

Невод рыбак расстилал по берегу студёного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям!
А. Пушкин

ВСТУПЛЕНИЕ

Кто не слышал имени Ломоносова! Это имя, окружённое блеском славы, сделалось дорогим для каждого русского. Читая про деяния северного гения, смело можем воскликнуть с поэтом:

Не бездарна та природа,
Не погиб ещё тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай, —
Столько добрых, благородных,
Сильных любящей душой,
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!

В настоящем очерке я познакомлю вас, читатели, с жизнью этого великого человека, с его деятельностью и заслугами, которые оказал он на литературном, учёном и общественном поприщах.

I

На Северной Двине, протекающей в Архангельской и частью в Вологодской губерниях, лежит небольшой остров,

Эпиграф — из стихотворения А. С. Пушкина «Отрок», посвященного М. В. Ломоносову.

Не бездарна та природа и т. д. — фрагмент из стихотворения Н. А. Некрасова «Школьник».

на северной оконечности которого находится деревня Денисовка, или иначе Болото; в ней всего несколько маленьких домиков. В одном из этих домиков в начале прошлого столетия жил крестьянин Василий Дорофеич Ломоносов, занимавшийся, как и все остальные денисовцы, рыбным промыслом. Василий Ломоносов был человек добрый, сострадательный к бедным, умный и смывлённый. Так, он, не имея никакого понятия о кораблестроительном деле, осмотрев только со вниманием несколько иноземных судов, сделал галиот, небольшое судно, весьма удобное для плавания по своему скорому ходу. Жена его, Елена Ивановна, дочь пятигорского причетника, была женщина кроткая, добрая, пользовавшаяся любовью всех денисовцев.

В 1711 году у Ломоносовых родился сын. Новорождённого назвали Михаилом.

Рано лишившись матери, Ломоносов рос на полной свободе, без надзора, как вообще и теперь растут деревенские дети. Минуло ему десять лет. В крестьянском быту мальчики рано начинают работать, и вот маленький Ломоносов с десяти лет стал помогать отцу в его занятиях. Он вместе с ним ездил в Архангельск, в Соловецкий монастырь, на рыбную ловлю, в Белое море. По зимам, когда работы не было, он учился грамоте у местного сельского дьячка.

Обладая большими способностями и острою памятью, Ломоносов скоро научился читать толково и бойко; дьячок, весьма довольный его чтением, позволял ему читать на клиросе. Товарищи Ломоносова завидовали ему и нередко обижали его, вымещая на нём свою бессмысленную злобу, словно даровитый мальчик был виноват в том, что

Галиот — двухмачтовое плоскодонное парусное судно.

Причетник — младший член церковного причта (псаломщик, дьячок).

Клирос — возвышение перед иконостасом в церкви, на котором во время богослужения находятся певчие.

его сверстники обладали менее богатыми природными способностями. Видя такое недружелюбие товарищей, встречая постоянные оскорбления, Ломоносов начал чуждаться их общества и весь отдался чтению.

Научившись бойко читать и толково понимать прочитанное, Ломоносов страстно полюбил книги. Дьячок, бывший учитель, видя в нём такую любовь к чтению, давал ему на дом разные церковные книги. Пытливый, любознательный юноша в непродолжительное время прочёл всё, что было у причетника. Ломоносов не мог остановиться на этом. Начатое чтение только ещё более пробудило его любознательность, ещё более усилило жажду знания. Но у кого же он мог учиться, где мог добыть книги? Дьячок и сам знал не много, да и всё, что знал, сообщил Ломоносову; крестьяне же были совсем необразованны и не имели никаких книг.

Юноша мучился от неудовлетворения пробудившейся любознательности. Нередко, сидя на улице, он устремлял глаза вдаль, любовался чудными картинами природы и задумывался над многими явлениями, происходившими в ней. Тысячи вопросов зарождались в голове даровитого юноши, но он не мог найти на них никакого ясного ответа. Силы природы оставались для него таинственными буквами, назвать которые не умел никто: ни сам Ломоносов, ни окружавшие его люди.

И велика же была радость Ломоносова, когда он узнал, что у одного денисовского крестьянина, Дудина, есть такие две книги, каких нет у дьячка и каких ещё не читал он, Михаил Ломоносов. Трепетно забилося сердце юноши, и он тотчас же отправился к владельцу драгоценных книг, чтобы попросить у него их хотя на самое короткое время. Ломоносову представлялось, что в этих книгах непременно есть то, что ему хочется знать. С этою мыслью подходил он к дому Дудина. Последний сидел за какою-то работою. Низко поклонился ему Ломоносов и в нерешимости остановился посредине комнаты.

— Здравствуй, Михайла, здравствуй! Что хорошего скажешь? — спросил Дудин, не поднимая головы от работы.

— Я к твоей милости, — ответил робко Ломоносов.

— Верно, отец послал за чем-нибудь... Что ему от меня требуется?

— Я не от отца. Я сам от себя к твоей милости, — возразил юноша немного уже посмелее.

— От себя?! — удивлённо промолвил старый рыболов. — Вот как!.. Что же тебе от меня надобно?

— Я слышал, у тебя есть какие-то книжки...

— Ну, есть. Что же из этого?

— Будь так милостив, одолжи их мне ненадолго.

— А на что они тебе понадобились?

— Почитать хочется...

— А почто тебе читать? У тебя часослов есть, и читай его...

— Да я уже его читал несколько раз... Я всё знаю... Мне хочется новых книжек.

— Нет, брат, шалишь! Много хочешь. Ещё ты молод читать такие книги, можешь ли ты знать им цену! Во всей деревне такие только у меня и есть.

— Да я ведь не изорву... Я буду беречь их, — упрашивал Ломоносов.

— Что ни говори, а я тебе не дам...

Сколько Ломоносов ни бился, Дудин остался непреклонен.

Глубоко огорчил юношу отказ Дудина. Унылый возвращался он домой, и в его голове была одна мысль: каким образом добиться книг от Дудина? После некоторого размышления Ломоносов решился достать эти книги через детей Дудина, и с этою целью он начал всячески угождать им. Этот манёвр удался Ломоносову: он добился своего — получил книги от упрямого денисовца, и притом в полное распоряжение.

Часослов — богослужебная книга.

Не чувствуя под собой ног от радости, бежал Ломоносов домой с драгоценною ношею. Боясь, чтобы отец, а главное — мачеха (отец Ломоносова женился во второй раз), не увидели книг, юноша спрятал их под балахон и сейчас же, как только пришёл домой, положил их в свой ящик на самый низ.

Преследуемый мачехой, а нередко и отцом, Ломоносов читал тайком, убегая в поле, в лес или скрываясь где-нибудь на задворках; часто, дождавшись ночи, он тихонько вставал с постели и при слабом лунном свете принимался за чтение. Любовь к книгам в юноше была так сильна, что он с охотою переносил из-за них и холод, и голод, побои грубой мачехи и даже лишал себя необходимого сна.

Вот и теперь он ждал с нетерпением наступления ночи, чтобы достать из ящика и прочесть подаренные книжки. Сильно хотелось ему посмотреть их. Он подходил к ящику, приподнимал крышку... Но тут вдруг раздавался кашель отца или голос мачехи — Ломоносов закрывал спешно ящик и отходил прочь. «Подожду ночи», — рассуждал он сам с собою. А день, казалось ему, как нарочно шёл ужасно медленно. Ломоносов мучился и как светлого праздника ждал лунной ночи.

Наступила, наконец, и ночь. Выплыл месяц на тёмно-голубую лазурь небес и осветил серебристым светом землю. В избушках денисовцев зажглись огоньки; рыбаки сядились за свой скромный ужин. Сел за стол вместе с семьёю и юный Ломоносов. Но ему было не до еды: он горел желанием прочесть добытые книги и ел только для вида, чтобы не выказать внутреннего волнения.

После ужина старик Ломоносов с женою легли спать. Лёг и Михаил, но сон не смыкал его век. Чутко прислушивался он к дыханию отца и мачехи, а сам смотрел в окно, любуясь красотою звёздной северной ночи.

Прошло около получаса. Тихонько встал Ломоносов с низенькой кровати, достал из своего ящика принесённые

утром книги и тихонько, как тать, прокрался на улицу. Ночной воздух обдал Ломоносова свежестью, а серебристый месяц, сиявший на небе, осветил его лицо и длинные русые волосы. Свободно вздохнул юноша и невольно, под влиянием чарующей ночи, забыл о книгах и поднял голову к небу, где мерцали яркие звёзды, переливаясь разноцветными огнями. Долго и с восторгом любовался он чудною картиною, долго глядел туда, в небесную высь, где с наступлением ночи

Открылась бездна звезд полна, —
Звездам числа нет, бездне — дна,

наконец отвёл свои взоры от небесного свода и начал развязывать узелок с книгами. Прочитав заглавные листы на книгах, он узнал, что одна из них была славянская грамматика Смотрицкого, а другая — арифметика Магницкого, изданная при Петре Великом для учеников училищ морского ведомства. Ломоносов, уже давно привыкший читать при лунном свете, прочитал несколько страниц из первой, раскрыл вторую и принялся палочкой чертить на песке цифры. В этой работе прошло несколько часов. Юноша, углубившись в свои мысли, и не заметил, как на востоке показалась красная полоса, предвестница близкого рассвета, как гасли одна за другою звёзды и побледнел месяц. Лёгкий

Тать — вор, грабитель.

Открылась бездна звезд полна, — Звездам числа нет, бездне — дна — цитата из стихотворения М. В. Ломоносова «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», написанного позднее, в 1743 г.

Славянская грамматика Смотрицкого, арифметика Магницкого — «Грамматика» церковнославянского языка Мелетия Смотрицкого (1577—1633) и «Арифметика...» Леонтия Магницкого (1669—1844), многократно переиздававшиеся популярные учебники.

утренний ветерок привёл его в себя. Поспешно сложил он в узел книги, тщательно уравнивал ногами песок, чтоб не заметили его ночных занятий, и пошёл в избу. Но, подойдя к дверям, он остановился в раздумье.

«Завтра мы едем с отцом в море, куда же девать книги? — рассуждал он сам с собою.— Если оставить дома, найдёт мачеха и, пожалуй, бросит в печку... Взять с собой? Но отец не любит книг и, увидав как-нибудь их, кинет в море...»

— Да что я,— проговорил он, выходя из раздумья,— всего лучше спрятать в сено.

Он вернулся назад, влез на сеновал и зарыл книги глубоко в сено. Тяжело было ему на продолжительное время расставаться с книгами, но делать нечего: приходилось покориться обстоятельствам. Глубоко вздохнул бедный юноша и отправился в избу.

Прошло некоторое время после этой ночи. Ломоносов прочёл обе книги, подаренные Дудиным, но они далеко не удовлетворили его. Опять задумался юноша над тем, где добыть такую книгу, которая сказала бы то великое слово, что объяснит всё непонятное и неизвестное. Книги не отыскивалось. Грусть овладела Ломоносовым... Однако он не упал духом, не забросил чтения. За неимением новых, он перечитывал по временам старые книги и каждый раз всё глубже и глубже задумывался над ними. Однажды Ломоносов, не имея возможности читать дома при отце и мачехе, отправился с книгою в ближайший лесок. Стояла зима, было довольно холодно.

«Эк его куды занесло»,— подумал дьячок, проходивший в это время лесом и увидевший из-за дерева Ломоносова с открытою книгою в руках. Потом, подойдя ближе, произнёс:

— Вижу, что не даром далась тебе грамота. Но скажи, зачем ты забрался в лес, словно в избе нет для тебя места?

— Не сошлась изба углами,— ответил юноша.— Место было бы, да с книжками некуда деваться, недолголюбивают

их там, особенно мачеха. Раз приехали мы с отцом из города с разными покупками, я повёл лошадь в хлев, а книги на время положил в телегу. Мачеха пришла и утащила вместе с покупками книги — как швырнёт она их под лавку при разборке покупок! Порядком досталось тогда и мне. Я стал прятаться; лучше этого места не находил.

— Ох, Михайла, Михайла! — после долгого раздумья проговорил дьячок, поражённый его положением и такую страстью к ученью. — Вот бы в Москве побывать тебе да поучиться в тамошних школах! Там и латыни учат. А теперь ступай домой: ты окоченел, лицо посинело, ты весь дрожишь.

Крепко задумался Ломоносов над словами своего бывшего учителя. И чем дольше думал он, тем сильнее разгоралось в нём желание попасть в Москву, в тамошние школы, где учили всему, даже и иностранным языкам. Но как попасть в Москву? Одно средство — попросить отца, чтобы он отпустил учиться в московскую школу. На этой мысли и остановился Ломоносов. При первом же удобном случае он привёл свой план в исполнение. Василий Дорофеич страшно изумился просьбе сына.

— Ты хочешь ехать в Москву учиться? Да откуда у тебя залезла в голову такая блажь? — сказал он.

— Там всякие школы есть... Там всему учат... Я всё хочу знать, чтобы было всё ясно и понятно, — убеждал Ломоносов.

Старик продолжал:

— Да зачем тебе это? Ведь, кажись, ты не дворянин, к чему ж тебе грамота? Ну, учиться дворянам — другое дело, им ученье пригодно, на службу царскую идти придётся... А нашему брату ученье — это пустое дело... Что тебе в книгах? Али они помогут в рыбном промысле? Али богаче сделают?..

— Э-эх, Михайла, — продолжал старик, — непутное, брат, забрал ты себе в голову... Брось всё скорее, лучше

будет. Ты умеешь читать, ну, и пишешь тоже, чего же тебе ещё! Али с ума спятил?.. Говорю, брось скорее, принимайся за дело, лучше будет...

Не понял тёмный старик стремлений сына, не предвидел он, какого полезного человека в лице его Михайлы готовила судьба всему русскому краю, и отказал в просьбе отпустить учиться в московские школы.

Но Михаил не бросил своей мысли. Его не испугала первая неудача: это был человек с громадной силою воли, закалённый в упорной борьбе с природою, в постоянных опасностях и лишениях, с которыми сопряжены рыбные промыслы.

«Если отец не пускает, найду другое средство, а попаду в Москву», — думал он.

Недолго пришлось ждать Ломоносову. Такой случай очень скоро представился. Из Денисовки отправился обоз с рыбою в древнюю русскую столицу. Ломоносов решил отправиться с ним. Это было смелое, дерзкое решение, и на него мог отважиться только бесстрашный помор, который чувствовал свои силы и смело шёл на ту дорогу, куда звал его природный гений.

Но Ломоносов отправился не прямо с обозом, потому что в таком случае бегство его не могло быть удачным. Он выждал несколько времени, дал уйти обозу и тогда уже покинул дом, предполагая нагнать обоз вёрст за пятьдесят от села. Тёмною ночью, без копейки в кармане, пустился Ломоносов в дальний, неведомый путь. Морозы стояли страшные, птицы мёрзли на лету и голодные волки стаями рыскали по дороге, забегали и в деревни. Ломоносов, забыв все опасности, в овчинном тулупе на плечах, в изорванной шапке на голове, быстро шёл по гладко укатанной дороге. Под мышкою у него был узелок, где лежало всё его богатство — несколько старых книг, а в кармане кусок чёрного хлеба.

В Антониевском монастыре, находящемся на 92-й версте от Холмогор, Ломоносов остановился ненадолго. Затем он

опять продолжал путь, дрожа от страха каждый раз, когда до него доносилось дикое завывание голодных волков.

Наконец он догнал обоз, который двигался по дороге, скрипя полозьями саней, то ныряя в яму, то снова поднимаясь на горушку.

Ещё издалека увидел его обозный приказчик, хотя и не мог узнать его.

— Э, да это Михайла Ломоносов! — проговорил приказчик, когда юноша подошёл на близкое расстояние.

Ломоносов, догнавши обоз, робко пошёл рядом с последними санями. Приказчик, движимый любопытством, остановился, дождался последнего воза и пошёл рядом с Ломоносовым.

Несколько времени продолжалось молчание. Приказчик первый прервал его, спросив у Ломоносова, куда и зачем он пустился один в дорогу в такие трескучие морозы.

— Я иду в Москву... Учиться в тамошние школы... Позвольте мне вместе с обозом дойти до столицы, — отвечал беглец.

— В Москву-у? — протянул приказчик. — Да не с ума ли ты спятил? Разве ты дворянин али попович? Там, брат, всё дворяне учатся, а не наш брат мужик.

Приказчик принялся уговаривать Ломоносова вернуться назад. Юноша упорно стоял на своём.

— Что будет, то и будет, а уж пойду в Москву, — возразил он на слова приказчика, который говорил между прочим, что в Москве ему, Ломоносову, придётся очень тяжело, потому что, во-первых, всё там дорого, а во-вторых, у него и знакомых никого нет.

После долгих упрасиваний Ломоносову, наконец, удалось уговорить приказчика: тот позволил ему идти в Москву вместе с обозом. Ямщики не только не стали противоречить этому, но и согласились даром кормить беглеца в продолжение всего пути.

Попович — сын священника.

— Так и быть, мы сообщу тебе прокормим дорогой, — сказали мужики. — Но в Москве, — прибавили они, — уж ты заботься о себе, как знаешь сам: там всё дорого, и нам кормить тебя не из чего.

Ломоносов поблагодарил добрых людей и с облегчённым сердцем зашагал по дороге.

«Однообразное путешествие до Москвы, — говорит один из старых биографов Ломоносова, — не представляло ничего замечательного. Иногда, правда, падали возы, сбивались с ног лошади, однако всё это было в том порядке вещей, который и ныне повторяется беспрестанно в северных странах. Беглец юноша разделял труды обозных и заслужил их расположение. Время шло как по сказанному, по писаному; день настаивал и оканчивался. И вот в одно утро солнце осветило Ломоносову золотые верхи московских церквей. Я не берусь раскрывать читателям тех чувств, тех мыслей, которые взволновали Ломоносова при виде Москвы. Пусть читатель решит сам, что мог чувствовать пылкий, отважный помор при виде того города, куда давно уже стремился он всею душою и куда бежал из отцовского дома, один, без всяких средств, только с двумя книгами в руках и с беспредельною жаждою учиться!..

И вот бесприютный беглец в самой Москве. С любопытством рассматривает он разные строения, толпы людей, наполняющие улицы. У всех серьёзные, озабоченные лица; все заняты своими собственными интересами, и никому нет дела до бедного юноши, из-за тысячи вёрст пришедшего в Москву с единственною целью — попасть в школу. Грустно стало Ломоносову, он упал на колени перед церковью Василия Блаженного, близ которой остановился обоз, заплакал и в горячей, усердной молитве начал просить у Бога покровительства и помощи...

Весь день и первую ночь Ломоносов провёл в пошевнях, в торговом ряду. Наутро взгрустнулось бедному юноше, и

Пошевни — широкие сани, розвальни.

снова он начал раздумывать о том, как попасть в московское училище. Но сколько он ни думал над этим вопросом, всё-таки не мог ничего придумать. Его ещё тяготила другая забота: не на что было купить хлеба, нанять какой-нибудь угол, чтобы приютиться от холода.

В голоде и холоде Ломоносов провёл два дня. На третий день его обстоятельства изменились к лучшему. У обозного приказчика оказался в Москве знакомый дворецкий. Этот последний пришёл зачем-то в торговый ряд. Приятели были рады встрече, и между ними завязалась беседа. Говорили о том, о сём, о Москве и Архангельске, и наконец зашла речь о Ломоносове. Москвич невольно поразился рассказом своего друга: решимость и смелость юноши удивили его. Он пожелал лично поговорить с отважным помором. С первых же слов юноша понравился дворецкому; он решил помочь и предложил ему переехать на свою квартиру. Ломоносов с благодарностью принял такое предложение.

К вечеру денисовцы отправились в обратный путь, а Ломоносов перебрался к радушному дворецкому. Этот горячо принялся за дело и в два дня всё устроил как нельзя лучше: Ломоносов был принят в Заиконоспасское училище. Но так как сюда принимались только дети дворян и духовных, то Ломоносова зачислили дворянином. Такое снисхождение юноше ректор училища оказал вследствие исключительного его положения и ради тех необыкновенных способностей, которые ректор угадал после первого же разговора с молодым человеком. По незнанию латинского языка Ломоносов попал в первый класс. В это время ему минуло 17 лет.

С жаром принялся он за ученье. Всё свободное время от классов он посвящал чтению. Любознательный юноша не

Заиконоспасское училище — Славяно-греко-латинская академия, первое русское высшее общеобразовательное учебное заведение, находившееся в московском Заиконоспасском монастыре.

мог удовольствоваться тем, что читал учитель, и забегал далеко вперёд из каждого предмета. Такое трудолюбие при необыкновенных способностях не могло не дать благоприятных успехов: Ломоносов опередил всех товарищей и обратил на себя внимание учителей. Они не только не похвалили за это ученика, но даже остались крайне недовольны его «излишним рвением». Один из биографов великого учёного рассказывает следующее: раз Ломоносова спрашивали из грамматики, именно из первой части — этимологии. Ответив хорошо из этимологии, Ломоносов не утерпел, чтоб не похвастаться тем, что он знает и синтаксис.

— Синтаксис?! Как так? — удивлённо воскликнул учитель, опрашивавший Ломоносова. — Да ведь ты не проходил этого?

— В классе действительно не проходил, — ответил он, — но я своею охотою выучил всё.

Наставник рассердился.

— В тебе видна излишняя горячка, молодой человек, — сказал он Ломоносову. — Ты забываешь, что здесь ты подчинён людям, которые выше всего считают смирение.

Сухое, вялое преподавание риторики да пиитики не могло удовлетворить юношу. Он жаждал знакомства с природою, желал знаний по физике и математике. Но этих наук не проходили в училище. Даже в училищной библиотеке было не более трёх-пяти книг по физике. Прочитав их, Ломоносов не получил определённых сведений, и только ещё более разгоралось в нём желание серьёзно познакомиться с математическими науками.

Латинский язык он знал уже настолько, что мог сочинять на нём небольшие стихи.

Этимология — раздел языкознания, посвящённый происхождению слов.

Пиитика — поэтика, теория поэзии (в более широком значении — теория литературного творчества).

Услышав, что математика проходится в Киевской академии, Ломоносов начал проситься у ректора в Киев. Ректор не нашёл причины для отказа, и он отправился в Киевскую академию. Но скоро Ломоносов увидел, что он впал в жестокую ошибку: в Киевской академии не учили ни физике, ни математике; там преподавали только латинский язык, богословие и словесность. Этому учили в Москве, и не этого вовсе искал Ломоносов. Разочарованный в своих надеждах, он возвратился в Москву, не пробыв и года в Киевской академии.

Наступил 1736 год. В начале этого года Заиконоспасская школа получила из Петербурга требование выбрать двенадцать лучших воспитанников и отправить их в Петербургскую академию для изучения математики и физики. В числе двенадцати оказался и Ломоносов. Нечего и говорить, что он чрезвычайно был рад этому. Его давнишнее желание осуществилось. Полный самых радужных надежд, отправился Ломоносов в северную столицу.

По прибытии в Петербург ещё с большим жаром принялся он за учение. Трудолюбием и редкими способностями он и здесь скоро обратил на себя внимание всех профессоров. Более других полюбил Ломоносова профессор математики, знаменитый Эйлер, который сразу угадал великого человека в молодом слушателе.

Правда заставляет сказать, что этот последний не был совсем доволен и академическим преподаванием, отдавая в то же время профессорам должную справедливость за их учёность. «Знакомясь с какою-нибудь наукой, с каким-нибудь

Киевская академия — Киевская духовная академия, старейшее высшее учебное заведение Русской церкви.

Петербургская академия — Петербургская академия наук, высшее научное учреждение.

Эйлер Леонард (1707—1783) — выдающийся швейцарский, немецкий и российский учёный-математик.

предметом,— замечает один из биографов Ломоносова,— Михаил Васильевич хотел вполне, во всей целостности узнать этот предмет, исследовать его до малейших мелочей, до самых частных подробностей, чтобы ничто в этом предмете не оставалось для него нерешённым или неизвестным. Но вполне подробно изучают науку не в школах и не под руководством учителей: для этого нужно уже самому после школьного учения заниматься научными исследованиями. Ломоносов ещё не вполне сознавал это и потому, принимаясь, например, за естествознание, вскоре приходил в недоумение: ему всё казалось, что то, что он учил, ещё не вся наука, а только начало, и вследствие этого он думал, что учителя скрывают от него истинную глубину знания. Эта неостывшая жажда узнать всё вполне, эта всегда толкавшая его вперёд любовь к науке обещали, действительно, впереди из Ломоносова великого человека. Часто какой-нибудь один предмет поглощал всё его внимание, и он оставлял на время все другие занятия. Иногда, ни в чём не находя удовлетворения, он бросал всё, а там снова с жаром отдавался науке».

Человек создан так, что он не довольствуется раз приобретёнными знаниями, но желает приобретать и новые. Это, конечно, применимо не ко всем: многие, не обладая богатыми природными умственными способностями, довольствуются малым. Не имея любознательности, они не стремятся вперёд, им даже скоро надоедает наука, и они охотно бросают заниматься ею. Не таков был Ломоносов. Чем больше он узнавал, тем сильнее становилась в нём любовь к науке. Ему хотелось знать больше того, что проходили в академии...

К счастью Ломоносова и ко благу России, и это желание гениального помора исполнилось. В конце 1736 года он вместе с двумя товарищами был отправлен академиею за границу для изучения химии и металлургии, то есть такой науки, которая занимается изучением металлов, выискивает способы добывать их из земли.

Местом образования Ломоносова был назначен Марбург, университет которого славился своим профессором Вольфом. Здесь Ломоносов слушал лекции по химии, металлургии и математике, изучал немецкий язык и читал разные книги на этом языке.

Отдавшись научным занятиям, молодой студент вёл тихую, скромную жизнь, и единственным развлечением для него служила беседа с хозяином, простым портным, но добрым и честным человеком, и с его дочерью, молоденькою Христиною, не отличавшеюся особенною красотой, но очень умною девушкою.

В денежном отношении Ломоносов и теперь был плохо обеспечен: Петербургская академия неаккуратно высылала стипендию и заставляла русских студентов терпеть большую нужду. Только крепкое здоровье помогло Ломоносову вынести все тяжёлые лишения. Эти лишения начались для него ещё с самого поступления в московскую школу. Вот что писал впоследствии Ломоносов о школьных годах вельможе И. И. Шувалову: «Обучаясь в спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук стремления, которые в тогдашние лета почти непреодолимую силу имели. С одной стороны, отец, никогда детей, кроме меня, не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил, оставил всё довольство, которое он для меня кровавым потом нажил. С другой

Марбург — город в центральной части Германии, на реке Лан; помимо Марбурга, Ломоносов проходил учение и в другом немецком городе — Фрейбурге.

Вольф Христиан (1679—1754) — знаменитый немецкий учёный-энциклопедист, философ, юрист и математик.

Шувалов Иван Иванович (1727—1797) — русский государственный деятель, приближённый императрицы Елизаветы Петровны, покровитель наук и искусств.

Спасские школы — Заиконоспасское училище, Славяно-греко-латинская академия.

стороны — несказанная бедность: имея в день один алтын жалования, нельзя было иметь на пропитание в день больше как на денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды».

Занимаясь естественными и математическими науками, Ломоносов уделял время и на чтение немецких писателей. Из немецких поэтов Ломоносову особенно понравился Гюнтер. Читая его, Ломоносов решил применить размер немецкого стиха к стиху русскому. В это время русские войска одержали победу и взяли турецкую крепость Хотин. Такое событие вдохновило Ломоносова, и он написал оду «На взятие Хотина» совершенно новым размером. Одою называется стихотворение, написанное торжественным слогом в честь какого-нибудь лица и события. Чтобы показать читателю внешнее различие между первою одою Ломоносова и стихами, писанными до него, я приведу несколько строк из оды «На взятие Хотина»:

Восторг внезапный ум пленил,
Ведет на верх горы высокой,
Где ветер в лесах шуметь забыл;
В долине тишина глубокой.
Внимая нечто, ключ молчит,
Что меж травой в лугу журчит
И вниз с холмов шумя стремится.
Лавровы вьются там венцы;
Там слух спешит во все концы;
Далече дым в полях курится.

Алтын — три копейки.

Денежка — монета в полкопейки.

Гюнтер Иоганн Христиан (1695—1723) — немецкий поэт эпохи барокко.

Хотин — турецкая крепость на реке Днестр; была взята русскими войсками под командованием генерал-фельдмаршала Б. Миниха в августе 1739 г.

Сличая эти стихи со стихами Кантемира, читатель легко выведет разницу.

Эта ода была послана Ломоносовым в Петербург, и профессор академии Ададуров, которому было поручено рассмотреть её, отозвался о ней как о замечательном и прекрасном произведении. Вследствие этого отзыва она была поднесена императрице Анне Иоанновне, и та приказала напечатать её в нескольких экземплярах и раздать всем придворным.

В то самое время, как имя Ломоносова сделалось известным русскому двору и его ода расходилась по рукам среди петербуржцев, сам он терпел крайнюю нужду. Он уже был женат на Христине и имел дочь от этого брака. Семейство требовало немало средств, а бедный русский студент получал

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744) — князь, дипломат, поэт, виднейший русский литератор своего времени; представление о его произведениях может дать следующий отрывок из оды «К императрице Анне в день ея рождения»:

Отвсюду бессмертная хвала и велика
Тебе слава пристойт, о Анна; толика
Пространство, империя, яже управляешь
Праведными законы и счастливо знаешь,
Державствуя, добрые вводить в народ нравы,
Добродетели в себе дая образ здравый.
Долженствовать всяк тебе здравие согласно
Своё исповедует; и мир цветёт красно,
Всеприятный при тебе, мир, един над многи.

Ададуров Василий Евдокимович (1709—1780) — русский математик, литератор, переводчик, первый русский действительный член (адъюнкт) Петербургской академии наук.

Анна Иоанновна (1693—1740) — племянница Петра I, русская императрица с 1730 г.

небольшую стипендию, отчего он впал в долги, в которых запутывался всё более и более, и наконец дошёл до такого безвыходного положения, что решился тайком бежать в Россию.

Тихо поднялся с постели Ломоносов, наскоро написал записку жене, уведомляя её о своём плане, прося не падать духом, а ждать от него известия из Петербурга, и вышел из дома.

И вот он бежит по тёмным и пустынным улицам Марбурга, как некогда бежал из Денисовки, опять без копейки денег в кармане, с одной надеждой на Бога и добрых людей.

Целый день шёл Ломоносов не останавливаясь, наконец силы начали ему изменять, и он в изнурении опустился на траву. После непродолжительного отдыха он пошёл далее. Не более как через час он увидел невдалеке от дороги маленькую гостиницу. Усталый, мучимый голодом, он вошёл в неё и обратился к хозяину с просьбою дать как милостыню хоть кусок чёрного хлеба.

В это время в гостинице находились прусские вербовщики, то есть люди, которые всякими способами старались завлечь молодых людей в королевскую службу. Они решились завербовать Ломоносова, и им удалось это. Несколько кружек вина и пива было достаточно для того, чтобы обессилить утомлённого путника: он заснул крепким сном. Во время сна вербовщики нашили Ломоносову солдатские погоны, и русский студент проснулся прусским солдатом. Сопrotивление было бы бесполезно, Ломоносов хорошо понял это, и потому принял вид совершенно довольного человека. Но в душе он решился во что бы то ни стало избавиться от солдатской шинели. В первую же ночь, когда его привезли в крепость, Ломоносов привёл свой план в исполнение: тихо вышел он из казармы, прокрался мимо караульного, переплыл крепостной ров и бросился бежать. К утру хватились его, и за ним была послана погоня. Но Ломоносов успел избежать её, достигнув голландской границы.

Избегнув счастливо прусской погони, Ломоносов продолжал путь по направлению к Гааге и через несколько дней достиг голландской столицы, где жил русский посланник Головкин. Этот ласково принял бедного студента и помог ему отправиться в Россию. В конце 1741 года Ломоносов вернулся в Петербург.

II

Полный самых лучших, светлых надежд и высоких стремлений, прибыл Ломоносов в Петербург. Он ждал ласкового и тёплого привета, думал найти себе сочувствие и поддержку. Но пылкому помору пришлось на самых же первых порах испытать горькое разочарование. В Петербурге произошли значительные перемены. Уже не было того президента Академии, который поднёс императрице оду «На взятие Хотина», скончалась и сама императрица, заинтересовавшаяся необыкновенным студентом и следившая за его научными успехами за границей, заглохла и всякая молва при дворе, возбуждённая на время прекрасно написанным патриотическим стихотворением.

Ломоносова никто не знал, все отнеслись к нему более чем холодно. Академия, которая почти что вся состояла из немцев, враждебно относившихся ко всякому русскому дарованию, неприветливо и строго встретила молодого учёного. Это неприятно подействовало на Ломоносова, но он не упал духом. Академия же, рассмотрев аттестат Ломоносова (немецкие профессора свидетельствовали об его отличных успехах в математике и естественных науках), поручила ему в виде испытания привести в порядок минеральный кабинет Кунсткамеры.

Головкин Александр Гаврилович (?—1760) — граф, дипломат, в 1731—1759 был русским послом в Голландии.

Кунсткамера — кабинет редкостей, первый в России музей, учреждённый Петром I.

Ломоносов исполнил это поручение блистательно, но, однако, не получил никакого места при Академии. Теснимый нуждой и напрасно ожидая определения, Ломоносов подал на Высочайшее имя прошение, в котором между прочим говорил, что «ещё в 1736 году указом из Высочайшего кабинета отправлен он был в Германию для изучения металлургии, математики и философии, с обещанием, что если он указанные науки хорошо поймёт, то определить его профессором при Академии». В заключение Ломоносов прибавлял, что все эти науки им отлично пройдены, и он может как «им юношество российское обучать», так и «книги полезные составлять».

Прощение имело успех. Вскоре Ломоносов получил место помощника профессора Академии, и с этих пор начинается его неутомимая деятельность на пользу науки.

Таким образом, Ломоносову пришлось с первого же шага на русской земле начать борьбу с немцами-академиками, и эту борьбу он продолжал до самой смерти, имея в виду только одно: благо Русской земли и счастье русского народа. Любя искренно родину, желая ей блестящего будущего, горячий патриот не терпел академиков-немцев, которые мало думали о русском просвещении и затирали всякого русского, проявлявшего способности. Увидя в Ломоносове гениального, энергичного человека, и притом преданного всею душою интересам науки и русского народа, академики решились во что бы то ни стало сломить его и не дать возможности выдвинуться на первый план. Трудный путь предстоял Ломоносову, но он не испугался тяжёлой борьбы и смело вступил в неё. Немало неприятностей принесла эта борьба русскому учёному, много обид и притеснений пришлось ему вытерпеть от врагов, которые старались задержать каждое его благое начинание, но в конце концов правда восторжествовала, многие предложения Ломоносова были осуществлены, он приобрёл уважение лучших людей своего времени и занял самое почётное место в истории русского просвещения.

Деятельность Ломоносова была чрезвычайно разнообразна. Прочитывая его бумаги, невольно приходится удивляться той энергии, тем способностям, которыми он обладал и которые дали ему возможность сделать для своего отечества столько полезного, благотворного и прекрасного. Он не ограничивается исполнением служебных обязанностей, не ограничивается одним преподаванием своего предмета, но трудится зараз по многим отраслям знания и, забывая себя, свои личные выгоды, спокойствие и здоровье, старается, где только может, оказать посильную пользу. Он читает лекции студентам по физической географии, химии, истории и естественным наукам и даёт им приватные уроки «о российском стихотворстве»; обучает молодых людей составлению разных цветных стёкол, изобретает фейерверки, заготавливает материалы для русской истории и пишет потом самую историю; сочиняет оды, поэмы и делает химические и физические опыты; излагает законы языков, изобретает оптические инструменты, делает мозаические картины и говорит речи о цветах, о разных воздушных явлениях, происходящих от электричества.

Вследствие своей серьёзной подготовки за границей Ломоносов, работая по совершенно разным отраслям знания, давал не только вполне солидные и серьёзные труды, но и делал важные открытия, вошедшие в науку, изобретал новые способы к наблюдению различных явлений и свойств природы.

Но, несмотря на все труды и открытия, которые делал Ломоносов, Академия продолжала по-прежнему недружелюбно относиться к нему, и молодой учёный терпел страшную нужду. Несмотря на своё искреннее желание, только через три года мог он вызвать своё семейство в Петербург. Ломоносов должен был снова обратиться с просьбою. Он писал:

Мозаические картины — картины, составленные из кусочков смальты (цветного стекла).

«В бытность мою при Академии трудился я довольно в переводах физических, химических и словесных с языков латинского, немецкого и французского и сочинил на русском языке горную книгу и риторику и, сверх того, в чтении славных авторов, в обучении назначенных ко мне студентов, в изобретении новых химических опытов, сколько за неимением химической лаборатории быть может, и в сочинении новых диссертаций упражняясь, через то я, низжайший, ещё знаний в науках присовокупил. Но и до сей поры профессором не произведён».

Вместе с этим прошением Ломоносов представил Академии несколько своих математических сочинений, которые и просил подвергнуть серьёзному разбору. Не могла же Академия оставить без внимания ни нового прошения, ни новых сочинений! Но немцы решились забить Ломоносова и, полагая, что его работы не будут одобрены заграничными учёными, послали представленные сочинения Эйлеру. Этот знаменитый математик произнёс приговор в пользу русского ученого. «Все записки Ломоносова,— отвечал Эйлер,— по части физики и химии не только хороши, но безусловно превосходны, потому что он с такою основательностью излагает любопытнейшие, совершенно неизвестные и необъяснимые предметы, что я вполне убеждён в истине его объяснений; по сему случаю я должен отдать справедливость г-ну Ломоносову, что он обладает счастливым гением для открытия необъяснимых явлений физики и химии, и желательно было бы, чтобы все прочие академии были в состоянии производить открытия, которые совершил Ломоносов».

Волей-неволей Петербургская академия должна была признать за Ломоносовым его заслуги и исполнить его просьбу. Он получил место профессора химии.

С получением нового места материальные обстоятельства Ломоносова поправились, и это улучшение жизненной обстановки благотворно отозвалось на его трудах: он ещё

с большим жаром принялся за свои занятия. Наученный опытом и предыдущею борьбою с противною партией, Ломоносов сделался уже несколько сдержаннее. Он понял всё ничтожество отдельной, хотя бы даже и гениальной личности и на этом основании стал искать себе поддержки и защиты в среде знатных особ. Одним из ближайших, более других преданных ему вельмож был И. И. Шувалов, который своим покровительством и поддержкою возвысил личность Ломоносова в глазах современников и дал возможность привести в исполнение многие полезные намерения. Обладая здоровой и цельной натурой, Ломоносов не мог ограничиться одними кабинетными и академическими занятиями и переносил свой труд с почвы теоретической в сферу чисто практическую. Мы уже знаем, что он изобрёл фейерверки и занимался выделкою стёкол.

Во всех этих предприятиях И. И. Шувалов оказывал ему помощь как в нравственном, так и в материальном отношениях. Покровительство этого вельможи избавляло Ломоносова от разных притеснений академических врагов, его сочувствие поддерживало в профессоре энергию, а ходатайство перед правительством давало те материальные средства, без которых гениальный, но небогатый учёный не мог бы провести в жизнь ни одного своего предположения. Мы здесь несколько остановимся на практической деятельности Ломоносова.

Как-то раз, бывши у графа Воронцова, Ломоносов увидел картину, изображающую плачущего апостола Петра. Картина была сделана из цветных стёкол и камней. Такие картины называются мозаическими. Ломоносову так понравилась картина, что он тут же решился приняться за изучение мозаики, чтобы потом сделать самому такую же картину.

Воронцов Роман Илларионович (1707—1783) — граф, генерал-поручик и сенатор, военный и государственный деятель, член Российской академии.

Горячо принялся он за дело, перечитал все книги, в которых мог почерпнуть нужные сведения, рассмотрел хорошенько и подробно картину и приступил к приготовлению разноцветных стёкол. Талант и труд взяли своё: Ломоносов добился цели и в непродолжительном времени показал друзьям-покровителям Шувалову и Воронцову несколько образцов своих работ. Вельможи пришли в восторг от сделанных мозаических картин и представили их императрице. Та также осталась довольна ими и выдала Ломоносову денежное пособие для заведения мозаической фабрики. Здесь-то Ломоносов приготовил портрет Петра Великого, значение и заслуги которого так глубоко ценил Михаил Васильевич. Эта картина хранится в настоящее время в Академии художеств.

Занимаясь научными исследованиями, делая важные математические открытия, Ломоносов не забывал и жизни; он любил науку, признавал за ней громадное значение, понимая, что только она в состоянии сделать жизнь человека более счастливою и отрадною. Поэтому он постоянно стремился к практическому применению в жизни научных знаний. И вот он думает о том, как сохранить народ от преждевременной смерти, предлагает собирать сведения о народной жизни, кладя начало статистической науке, даёт советы, как лучше ухаживать за маленькими детьми, заботится об уничтожении тех причин, вследствие которых так много гибнет народа во время праздников. Желая распространить в обществе научные сведения, он пишет книгу о металлах, где ясно, просто и толково излагает всё читанное, виденное в жизни и вынесенное из собственных опытов. Убеждённый в природных богатствах русской земли, Ломоносов доказывает сенату необходимость начать

Эта картина хранится в настоящее время в Академии художеств. — Мозаичный портрет Петра I работы М. В. Ломоносова находится теперь в Государственном Эрмитаже.

Сенат — высший государственный орган, подчинённый императору.

серьёзную разработку этих богатств, причём берёт на себя обязанность рассматривать присылаемые металлы и камни, выводить по ним заключения, где и какие водятся у нас природные богатства. Услыхав, что на устроенных соляных заводах нехорошо сделаны колодцы, отчего подземная вода смешивается с рассолом, Ломоносов пишет донесение в сенат, где доказывает все происходящие от этого убытки и просит прислать комиссию для исследования дела. Но что более всего занимало Ломоносова — это распространение и процветание наук в любезном ему отечестве. Он видел, как необходимо было для изучения России иметь верную и подробную географию, верный и подробный географический атлас, и вот он своим донесением беспокоит сенат, чтобы разосланы были указы по городам и сёлам и вытребованы оттуда точные географические показания, а сам пишет план экспедициям, по которому несколько человек должны были отправиться по всей России для измерения её в длину и ширину. Живо сознавал он, как необходимы были для России университеты и гимназии, и не раз высказывал желание видеть открытие Петербургского университета. При помощи Шувалова университет действительно был открыт, только не в Петербурге, а в Москве. Первыми учителями в нём явились ученики Ломоносова, а впоследствии из Московского университета вышло много благородных личностей, с пользою потрудившихся для блага русского края. Заботясь о высших и средних заведениях, Ломоносов не забыл и начальных училищ. Он хорошо понимал, что без последних не могут существовать и гимназии с университетами. Да и притом он желал образования не для одних высших классов общества, но и для всего русского народа, для всей Русской земли. Сознавая, что русский народ хранит много в себе здоровых сил и задатков к развитию, он требовал открытия высших и средних заведений для низших сословий. «И тогда,— говорил он,— из народа выйдет много Ломоносовых». Сына своей родной сестры он выписал в Петербург и сам принялся за его обучение.

Всегда и везде Ломоносов оставался благороден и высок. Его отношения к знатым друзьям вполне безупречны. Видя невозможность без поддержки высших лиц добиться своей цели, он прибегал к их помощи, писал им оды, хвалебные гимны, но не надо забывать, что всем этим он старался достичь не личного благополучия, а общей пользы, имел в виду не приглашения на обед, не какую-нибудь награду, но благо «любезного» ему отечества, дорогого русского народа. В этих же видах и с этою же целью он излагает некоторые научные истины в стихах: эта форма была доступна для многих, между тем как в серьёзной научной форме их прочли бы только некоторые.

Но, заискивая расположить знатных и высших лиц для достижения своих благородных целей, Ломоносов оставался всегда человеком независимым. Переписка его с Шуваловым всего лучше доказывает, как он глубоко уважал в себе человеческое достоинство и как дорожил честью и свободой. «Никто в жизни меня больше не обидел так, как ваше превосходительство,— писал Ломоносов Шувалову на другой день после того, как тот пытался было помирить Михаила Васильевича с Сумароковым.— Не хотя вас оскорбить отказом при многих кавалерах, показал я вам послушание, только вас уверяю — в последний раз. И ежели, несмотря на моё усердие, будете гневаться, — полагаюсь на помощь Всевышнего. Не токмо у стола знатных господ или каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога!»

В другой раз, когда рассерженный чем-то Шувалов сказал: «Я отставлю тебя от Академии!», Ломоносов с достоинством отвечал: «Разве Академию отставят от меня!»

Сумароков Александр Петрович (1717—1777) — русский поэт, драматург, теоретик классицизма; был литературным противником Ломоносова.

Ниже — даже.

Эта независимость видна и в приёме Ломоносовым вельможных друзей. Он принимал их в халате, в котором обыкновенно работал дома. Вообще Ломоносов вёл скромную и простую жизнь. Летом он любил заниматься в саду, где зачитывался и записывался иногда до того, что целую неделю не употреблял в пищу ничего, кроме пива и хлеба с маслом. В этом же саду принимал он своих земляков-поморов, приезжавших из Архангельска. Михаил Васильевич несколько не пренебрегал деревенскими друзьями, ласково встречал их и нередко пировал с ними до поздней ночи.

Не любя многолюдного, праздного общества, картёжной игры, различных шумных удовольствий, Ломоносов в виде отдыха занимался физическими опытами или писал стихи. «Всяк человек, — говорил Ломоносов, — требует себе от трудов успокоения, для того, оставив дело, ищет себе с гостями препровождения времени картами или какими-нибудь другими забавами; от всего этого я давно отступился, затем что не нашёл в них ничего, кроме скуки».

Физику и математические науки Ломоносов любил более других, и ими-то он занимался преимущественно в часы досуга. Шувалов, как и все люди того времени, хотя и понимал значение научных трудов Ломоносова и уважал его за эти учёные труды, ценил в нём всё-таки более поэта, чем учёного. Шувалов пробовал даже убедить своего друга оставить математические науки и отдаться исключительно словесности. Ломоносов наотрез отказался. И он был прав. Однако нужно сказать, что Ломоносов хотя и не был знаменитым поэтом, но всё же многие из его стихотворений заслуживают названия поэтических, потому что звучный и стройный стих, которым вообще владел он, является в них выражением высоких, прекрасных образов и сильного неподдельного чувства. К числу таких произведений относятся все оды, в которых Ломоносов говорит о пользе наук (например, «Письмо о пользе стекла»), описывает любимую и глубоко понимаемую им природу, выражает религиозное

чувство или указывает на величественную будущность Русской земли.

Тяжёлая борьба, которую вёл Ломоносов, усиленные занятия в молодости и потом, в последнее время, небрежение здоровьем, — всё это надломило крепкую натуру учёного помора, здоровье его расстроилось, и 4-го апреля 1765 года он скончался. «Вижу,— говорил умирающий Ломоносов своему другу Штелину,— вижу, что мне надо умереть, и только о том жалею, что не успел кончить начатого мною для пользы отечества и славы наук; жалею, чувствуя, что благие намерения мои исчезнут со мною».

Незадолго до смерти Ломоносова императрица Екатерина посетила его скромный домик. В записках княгини Дашковой мы находим очень любопытные сведения об этом посещении. «Приезжаю во дворец,— пишет Дашкова,— и государыня с прискорбием сказала мне: “Наш Михаил Васильевич что-то закручинился; поедem к нему, он нас любит, а из любви чего не делают”. Немедленно мы отправились к поэту и застали его в глубокой задумчивости у большого стола, на котором были разложены химические аппараты. В камельке огонь, как будто прощаясь с хозяином, то вспыхивал, то угасал. Мы вошли к Ломоносову тихомолком, без доклада; но, услышав привет императрицы: “Здравствуйте, Михаил Васильевич!”, он вскочил, как будто спросонок.— “Я приехала с княгинею посетить вас, услышав о вашем нездоровье, или, лучше сказать, о вашей грусти”. Несколько минут

Штелин Якоб (1709—1785) — профессор элоквенции (красноречия) и поэзии Петербургской академии наук, гравёр, первый российский искусствовед.

Императрица Екатерина — Екатерина II (1729—1796), правила с 1762 г.

Дашкова Екатерина Романовна (1743/44—1810) — княгиня, сподвижница Екатерины II, президент Российской академии, автор мемуаров.

уста Ломоносова были скованы молчанием. Наконец он воскликнул: “Нет, государыня, не я нездоров, не я грустен, больна и грустна душа моя!” — “Полечите её,— ответила государыня,— полечите её живым пером своим. Приветствуя меня с Новым годом, вы сказали, что так же усердствуете ко мне, как и к дочери Петра Великого. Что же, ужели вы намерены изменить мне?” — “Изменить вам, матушка-государыня? Нет, не перо, а сердце моё писало:

Твой труд для нас обогащенье,
Мы чтим стеною подвиг твой.
Твой разум — наше просвещение,
И неусыпность — наш покой”.

Слёзы блеснули в очах Екатерины, и она возразила: “Верю, верю, Михаил Васильевич; а чтобы ещё более удостоверить меня, то завтра приезжайте ко мне откусать хлеба-соли. Щи будут у меня такие же горячие, какими потчевала вас ваша хозяйка”».

Так глубоко уважала Екатерина гениального учёного, а вместе с ней и вся образованная Россия. Поэтому смерть Ломоносова тяжело отозвалась не только в сердцах близких друзей его, но и в сердцах всех, кому были дороги интересы русского просвещения. «Ещё мог бы пожить и потрудиться для пользы отечества!» — слышалось со всех сторон. Похороны Ломоносова были великолепны. Едва не вся столица собралась проводить русского гения в его последний приют в Невской лавре. Спустя несколько времени на могиле Ломоносова был воздвигнут великолепный памятник, а затем, впоследствии, ему были поставлены памятники

...к дочери Петра Великого — к императрице Елизавете Петровне (1709—1762, правила с 1741).

Твой труд для нас обогащенье и т. д. — цитата из оды Ломоносова «Императрице Екатерине Алексеевне в новый 1764 год».

в Москве, в Архангельске, в Холмогорах и в других русских городах.

Многие имена забываются с течением времени, но имя Ломоносова, как мощного и честного борца за русское просвещение, не умерло. Постоянно сознавались его великие заслуги, имя его переходило из уст в уста; о нём писали, знакомились с подробностями его жизни, и он составляет гордость и славу России. Прошло сто лет со дня его кончины, и вся Россия произнесла имя Ломоносова как одно из самых дорогих для неё имён. 7 апреля 1865 года, на торжественном обеде в его память, наш славный поэт Яков Петрович Полонский прочёл своё чудное стихотворение, которое я привожу здесь целиком.

Вот оно:

Среди машин, реторт, моделей кораблей,
У пыльного станка с начатой мозаикой,
Пред грудюю бумаг, проектов, чертежей
Сидел он, беглый сын поморских рыбаей,
Слуга империи и в ней борец великий
За просвещение страны, ему родной, —
Борец, измученный бесплодною борьбой
С толпою пришлецов, принёсших в край наш тёмный
Корысть и спесь учёности наёмной.
Больной, не мог он спать, — сидел, облокотясь,
Близ недоконченной работы,
И унывающим его на этот раз
Застала ночь. Куранты били час.
Огарок догорел, лампада у киоты
Одна по венчикам икон дробила свет
И озаряла тёмный кабинет.

...поэт Яков Петрович Полонский прочёл своё чудное стихотворение — это стихотворение называется «Хандра и сон М. В. Ломоносова».

Куранты — большие комнатные часы.

Ни милой дочери вечерние заботы,
Ни предстоящий труд, ни отдалённый бой
Курантов не могли души его больной
Отвлечь от тысячи печальных размышлений;
Знать, в этот час, унылый и глухой,
Страданьями с судьбой расплачивался гений.
Недаром головой он на руки поник
И тихо вздрагивал, — беспомощный старик.
В каком-то беспорядке смятом
Лежал камзол его в углу на груди книг,
И брошен был на стул, знакомый меценатам,
Парадный пудренный парик.
«Эх, Ломоносов, бедный Михаил
Васильич!» — сам с собой он с грустью говорил,—
Ты родины своей ничем не мог прославить,
И вот, за то, что ты не любишь уступать,
За то, что ты привык всё только с бою брать,
От Академии хотят тебя отставить...
Пора тебе молчать, глупеть и умирать!»
Так он хандрил, и вот от тёмного начала
До тёмного конца вся жизнь пред ним предстала:
Удача странная, капризная судьба
И с неудачами тяжёлая борьба.
И думал он: «Ни шумных бурь порывы,
Ни холод бурных волн, ни эти массы льдов,
Плывущих сквозь туман загородить проливы
И не пускать домой нас, бедных рыбаков,
Ни даль безвестная, ни староверов толки,
Ни брань, ни страх — ничто осилить не могло
Того, что с юных лет меня сюда влекло.

Камзол — одежда длиной до колен (иногда без рукавов), надеваемая под кафтан.

Меценат — покровитель наук и искусств, материально помогающий учёным, художникам и поэтам.

Староверы — приверженцы старой веры, противники церковной реформы 1650—1660 гг.; враждебно относились к светской науке.

Бывало, помню, воют волки,
Преследуя в лесу блуждающий обоз, —
Ночь, — бор кругом, лицо дерёт мороз;
А ты лежишь себе на дровнях под рогожей,
Пусть воют! — думаешь, отдавшись воле Божьей,
Да задаешь себе мучительный вопрос:
Мужик! Ты можешь ли изведать все науки?
Затем ли дан тебе и разум, и язык,
Чтоб ты, как самоед, к одним зверям привык?
И если неуч ты, умней ли будут внуки?
И вот решился ты бежать
И, не простясь ни с кем, пошёл Москвы искать,
И прибыл ты в Москву; на молодые страсти,
На злые помыслы железную узду
Ты наложил, — переносил нужду,
Терпел великие обиды и напасти,
И чуть не в рубище скитался без сапог,
Зубрил и голодал — всё вынес, Бог помог;
Через Германию и оды понемногу
С латинским языком ты вышел на дорогу.
Теперь-то, думал я, мы школы заведём,
 О просвещение похлопочем,
Способных к грамоте российской приурочим,
 Способнейших в народ пошлём,
Раскол наукою на правду наведём,
 Неволе — волю напорочим.
 Не даром я писал, вникая в сотни книг,
Не даром похвалы мой стих, как бисер, нижет,
И что ж увидел я меж козней и интриг?
Увидел, что мой ум ничьи умы не движет.
Так вал без колеса и даже без зубцов,
Ворочаясь, других не двигает валов.
Кричат, я — выродок славянский! Нет, бывало,
По деревням встречал немало я голов...

Дровни — крестьянские сани без кузова.

Раскол — здесь: староверы, старообрядцы.

И Ломоносовых явилось бы не мало;
Но к свету нет пути и свет их не влечёт.

.....
На то ли грозный Пётр державною сохой
Россию бороздил и всюду вежи ставил,
Чтоб русский сеятель те борозды оставил
И не задумался над нивою родной?..
Стою, как пахарь, я над нивой, где я сеял,
И вижу, жатвы нет, всё вражий дух рассеял,
И, как работник, я не нужен никому».
Так долго он хандрил и всё сидел. Казалось,
Он спал, склонясь к руке, или ему дремалось;
Но мысль «не нужен я», «не годен ни к чему»,
«Не нужен никому» — в него стрелой вонзилась,

И беспрестанно шевелилась
Она в его мозгу, — противная уму,
Росла, росла и в грёзы превратилась,
И облеклась в виденья: то ему
Казалось, рушится громада, — повалилось
Всё, что Петром сколочено, и он,
Как тень, над этими развалинами бродит,
Ни жизни, ни могил знакомых не находит,
Не может сам найти, где был похоронён
Раб Божий Михаил — пиита Ломоносов...

.....
То грезилось ему — пришёл он на совет
И заседает с мертвецами,
И громко говорит, и спорит с ним скелет
С напудренной косой, в кафтане с галунами,
И говорит ему: «Молчи! народа нет,
Один ты, выродок живой, достоин с нами
Быть в Академии! Доволен будь, молчи!
О средствах, о жене, о чине хлопочи...

Грозный Пётр — Пётр I.

Пиита — поэт.

Галуны — золотая или серебряная тесьма, которой оторачивают одежду.

Но ведай, университета
Не будет в Питере до преставленья света». —
Так слышалось ему, — так мрачно грезил он;
Так страшно в эту ночь, борясь с толпой видений,
Страданиями с судьбой расплачивался гений.
Но муза сжалилась.

Богиня, Геликон

Покинув, для него сошла в наш край суровый,
С поникшего чела сняла венец лавровый
И подошла к нему, — и погрузился он
В пророческий, глубоко ясный сон. —
И вот ему, шумя, сверкая и пестрея,
Приснился этот сон и праздник юбилея:
Горят огни, — во время торжества
Играет музыка, и раздаётся пенье,
И посреди иного поколенья
В речах шумит о нём столетняя молва —
И русский стих, набравшись русской силы,
О имени его звонит среди гостей,
Тень Ломоносова зовут из-за могилы, —
Хотят венчать её, сказать «спасибо» ей
За трудный подвиг начинанья,
За первый русский стих, ласкавший русский слух,
За честную борьбу, за веру в русский дух,
За первый луч народного сознанья...
Хотят сказать ему... и сам он увидал,
Что лавр, его рукой посаженный меж терний,
Возрос, и бюст его прикрыл и увенчал...
И сон исчез... Но улыбнулся гений
Такой улыбкою, как будто бы она
Чрез целый ряд годов и поколений
К нам из прошедшего была обращена
В немую будущность...
Не будем немые, примем
Его привет загробный и поднимем
Во славу разума торжественный бокал,
С прошедшим сочетав грядущий идеал.

Геликон — гора в Греции, где, согласно мифам, обитали музы.

Говоря о Ломоносове, академик Грот справедливо выразился: «Не одним гением и творчеством был велик Ломоносов: он был также велик своей безграничной любовью к России, любовью столь горячею, что ей, и только ей одной, уступала даже его любовь к науке».

«Поминки» о Ломоносове в 1865 году не ограничились заседаниями, обедами и речами. В память великого гражданина, гениального учёного и поэта было сделано немало полезного, что, конечно, порадовало дух неутомимого борца за просвещение: учреждены стипендии в разных учебных заведениях; основано училище в селении, где родился Ломоносов (на том самом месте, где стоял дом его отца, стоит школа); установлена премия в награду за лучшее сочинение по наукам, которым посвящал себя Ломоносов.

Друзья-читатели! Вы глубоко любите Россию, вам дорого имя Ломоносова, — помните же, что он возлагал всё своё упование на молодое поколение и от него ждал деятельной работы для блага общества. Собирайтесь же с силами, укрепитесь серьёзною научною подготовкою и идите по пути, проложенному нашим великим учителем, продолжайте дело, начатое им. Путь ваш легче, борьба с ложью и тьмою не так страшна, — смелее же! Вам светит немеркнущую звездою бессмертное имя Ломоносова!

Вологда. 1870

Грот Яков Карлович (1812—1893) — русский филолог, академик Петербургской академии наук.



СТИХОТВОРЕНИЯ

ПЕСНЯ

Эх, кабы да песня
Вылилась такая,
Чтоб она звучала
С края и до края!
Чтоб на эту песню
Каждый отзывался,
Устыдяся лени,
Спящий пробуждался;
Чтоб она скорбящим
Горе облегчала,
Воскрешала веру,
Слезы осушала;
Чтобы эта песня
В Матушке Престольной
И в глухой деревне
Сделалась застойной;
Чтоб она — живая —
Век не умирала,
На добро и славу
Всех бы вдохновляла...
Вот когда бы сердце
Охватило жаром,
Вот когда бы понял,
Что ты жил не даром!

СТАРЫЙ РЫБОЛОВ

Близ Прилук, в убогой хатке
Дед Антип живёт;
Бел, как лунь; годам давно он
Потерял и счёт.

В хатке деда вечно тихо:
По зимам он спит
Днями целыми, а летом
Над рекой сидит.

Знал Антип другое время,
Жил тогда не так;
Был известен он как первый
На селе рыбак.

Изменили силы деду:
Он и стар и хил,
Но реки своей широкой
Всё ж не разлюбил.

Только снег успеет стаять,
Пронесётся лёд,
Он все удочки исправит
И ловить идёт.

Люб Антипу влажный воздух,
Белых чаек крик...
«Здесь легко мне, здесь привольно»,—
Говорит старик.

И сидит, сидит день целый
Меж густых кустов,
И уснёт порой невольно

Старый рыболов.
Часто кошки, даже птицы
Рыбу раскрадут,
Шаловливые мальчишки
Удочки возьмут;

Но об этом не горюет
Рыболов-старик:
Ведь нужна ему не рыба,
Он к реке привык.

В БАБКИ

На лужайке, близ дороги —
Множество ребят...
Бабки стройно, словно войско,
Выставлены в ряд.

Шум, волнение, спор и крики —
Лучше не шути!
«Павел, Прохор! Что же, ставьте!
Эй, Фома, кати!»

Все за дело: смотрят зорко,
Чтоб никто не мог
Сплутовать... и слышно только:
«Ника, плоска, жог!»

«Эх, Павлуньке вечно счастье:
Снова первый он,
И какой богатый, длинный
Нынче, братцы, кон!»

Павел, точно подражая
Ловкому стрелку,
Глаз прищурил, долго целил —
И метнул битку.

Десять маленьких сердчишек
Замерло зараз,

Бабки — игра с использованием надкопытных костей домашних животных (бабок).

Ника — положение бабки желобком кверху.

Плоска — положение бабки боком.

Жог — положение бабки спинкой вверх.

Битка — бабка для бросания, обычно залитая внутри свинцом.

И впилися в кон богатый
Двадцать зорких глаз.

Миг один — и вдруг сменили
Крики тишину:
«Вот те на!» — «И бей, что хочешь!» —
«Чисто на кону!»

Павел весело смеётся,
Поверяет кон,
Бабки в ситцевый мешочек
Собирает он.

Чрез минуту бабки снова
Выставлены в ряд...
И глядит с тоской глубокой
На игру ребят

Из окна большого дома
Маленький барчук, —
Он с охотою пошёл бы
Поиграть на луг:

Как там весело и славно,
Воля и простор!
Но бедняжке Карл Иваныч,
Старый гувернёр,

С ребяташками босыми
Знаться не велит...
И барчук с тоской глубокой
Из окна глядит.

Кон — место, куда выставляются бабки и бросается битка.

* * *

Снег, да снежные узоры,
В поле — вьюги разговоры,
Холод, полутьма...
День — коньки, гора, салазки...
Вечер — бабушкины сказки...
Вот она — зима!

НОЧЬ В ДЕРЕВНЕ

Выплыл ясный месяц
Над большим селом;
Обливает поле,
Избы — серебром.
Тишь в селе немая,
Люд крестьянский спит...
Только в крайней хатке
Огонёк блестит.
Пред святой иконой,
Ниц упав лицом,
Молится старуха
О сынке родном,
Что нуждою-горем
Угнан в бурлаки,
Надрываясь, тянет
Барки вдоль реки.
Немудра молитва,
Коротка она,
Но глубокой веры,
Теплоты полна.
Крестится старуха,
На пол слёзы льёт...
Неужель молитва
К Богу не дойдёт!

СТ А Р У Ш К А

Глубокое нужное чувство
К малюткам питала она,
И в чистые детские души
Бросала добра семена;
Не знала ни гнева, ни злобы,
Ко всем справедлива была,
И между людьми за святую
Старушку она прослыла.

Я помню: оставив забавы,
Толпою бежали мы к ней,
В коричневый маленький домик,
Где чудно так пел соловей.
Не песня волшебная эта
Служила приманкой для нас:
Для детского сердца дороже
Был бабушки доброй рассказ.

Один за другим проходили
Года чередою своей,
Всё ниже склонялась старушка,
И всё становилась слабей;
А мы развивались и крепи,
Мужали умом и душой,
Но так же охотно сходились
У бабушки шумной толпой.

Ей нравились пылкие речи,
Наш искренний смех молодой,
И нам она с доброй улыбкой
Кивала седой головой.
Прощаясь, она говорила:
«Ребятки, Господь вас храни

От всякой беды и напасти
Во все многотрудные дни!»

С тех пор пронеслося немало
Печальных и радостных лет...
Лишь крепкие духом сдержали
Свой юный священный обет;
У многих погасли желанья,
Не стало и веры былой...
Но в сердце у каждого память
Жива о «старушке святой».

В ГЛУШИ

Позавчера, полуденной порою,
В простом рыбацком челноке,
Близ берега, под тенью ив густую,
Я плыл тихонько по реке.

В нагретом воздухе — то высоко, то низко —
Весёлых птиц звучали голоса,
И слышал я, как где-то близко, близко
Звенела острая коса.

И кто-то пел, шагая полосою,
О том, как в даль рвалась его душа...
И падала, подрезана косою,
Трава зелёная, шурша!

На отмели, с задорным громким смехом,
Резвилась детвора нестройною толпой, —
И крик и смех, подхваченные эхом,
Неслись и гасли за горой.

Я тихо плыл — пленён и очарован —
И вспомнил вдруг с невольною тоской
О том, кто к городу в такие дни прикован,
Как цепью, властною нуждой.

И вспомнились мне худенькие лица
Болезненных, задумчивых детей,
Лишённых, как в тюрьме, в твоих стенах, столица,
Цветов и воздуха полей!

ВЕСНА В СТОЛИЦЕ

Теплее воздух; ярче солнце;
Оно мне в тусклое оконце
Шлёт ласково лучи свои

И будто манит на свободу...
Я всей душой люблю природу
И эти солнечные дни.

Но не в глухих стенах столицы
Всю красоту весны-царицы
Постичь... Та дивная краса

Понятна только на просторе,
Где в зеленеющем уборе
Шумят таинственно леса;

Озёра, сбросив льда оковы,
Волною непокорной снова
С людьми вступают в грозный спор;

Победу правя над зимою,
Весна невидимой рукою
Раскинула цветной ковёр;

А в выси неба реют птицы,
И красоте весны-царицы
Гимн несмолкаемый звучит...

Вот где отдаться чарам можно!
А здесь — всё серо и ничтожно,
Здесь мыслит ум, душа молчит.

Н Я Н Е

Недаром сказано в Писании: что скрыто
И непонятно им — учёным, мудрецам,
То — волей Божией — доступно и открыто
Умам бесхитростным и верящим сердцам.

С тобою я провёл младенческие годы,
Ты няней доброю, заботливой была,
И ныне, в дни труда, унынья и невзгоды,
Всю скорбь души моей ты чутко поняла.

И как: когда в речах — ни слова, ни намека!
Я думал утаить душевную борьбу...
Ты угадала всё, с предведением пророка
Раскрыв передо мной грядущую судьбу.

Недаром сказано в Писании: что скрыто
И непонятно им — учёным, мудрецам,
То — волей Божией — доступно и открыто
Умам бесхитростным, младенческим сердцам!

С Е Я Т Е Л И

Весенний тихий день. На небе голубом
Ни тучки маленькой, которая дождём
Пролиться бы могла на дремлющую землю...
Иду я нивою и звонкой песне внемлю:
Она доносится с лазурной высоты,
Лаская нежно слух, будя в душе мечты.
То — ранний гость весны, то — жаворонок вольный
Звенит без умолку, счастливый и довольный.
А воздух тёпел так... Весенним чем-то он,
Бодрящим, радостным пропитан, напоён:
И травки запахом, что из земли пробилась,
И самую землёй, которая смочилась
За ночь минувшую живительным дождём,
И нежится теперь под солнечным лучом.
Дыханье влажное из недр её струится,
Из недр, где столько благ неведомых таится.
Граничит с нивою журчащий ручеёк,
Невдалеке за ним раскинулся лесок;
Деревья в почках все, и лёгкий ветерочек
Доносит из лесу смолистый запах почек.
Какая благодать! Свободно дышит грудь!
Здесь можно и душой и телом отдохнуть,
Здесь больше верится!.. Чернеющею нивой,
Объятый роем грёз, иду неторопливо.
Земля распахана... Работал вдосталь плуг...
Помощник пахаря, его товарищ-друг,
Неприхотливый конь с хозяином любимым
Прошёлся много раз по полосам родимым.
Пройдут ещё по ним и плуг и борона,
И сеятель земле доверит семена,
С надеждой крепкою в душе на милость Божью,
Что золотистою, тяжеловесной рожью
Зерно возвращённое вернёт назад земля.
«О, пусть случится так! — невольно мыслю я.—

Благослови, Господь! Взыщи Твоей любовью
Поля, что политы не только потом — кровью!
Да будет сеятель вознаграждён тобой!»
И вдруг мне вспомнился учитель молодой.
Вчера (а день стоял, как ныне, благодатен,
Сияло солнышко, был воздух ароматен)
Я в школу завернул. Битком была полна...
Я на скамейку сел у низкого окна
И вслушиваться стал, отдавшись наблюденьям.
Учитель вёл урок с любовью и уменьем.
Он детям объяснял прочитанный рассказ,
И я по лицам их, по блеску детских глаз
Увидел, что сердца их чистые открыты
К принятию истины... О, помощь ниспошли Ты,
Господь, и здесь Твою! Зерно благослови,
Что сеет сеятель, исполненный любви!

КОСМОПОЛИТУ

Быть может, ты и прав, с тобою я не спорю,
Но истина твоя чужда душе моей:
Сочувствовать могу я и чужому горю,
Но горе родины мне всё-таки больней.

Иду ли пыльною просёлочной дорогой,
Вхожу ли в тёмный лес, чтоб там укрыться в тень,
Встречаю ль на пути, в сторонке, храм убогий —
Отраду чистую безмолвных деревень;

Гляжу ли на поля, желтеющие рожью,
На бесконечный луг, одевшийся в цветы, —
На них, молясь в тиши, зову я благость Божью,
О них в моей душе тоскливые мечты.

Мне трудно объяснить, я сердцем понимаю.
Печаль — везде печаль, и я о всех скорблю,
Но о родной земле я иначе страдаю,
Её я иначе люблю!

Космополит — человек, считающий себя гражданином мира, а не определённой страны.

ПОЭЗИЯ

А. Н. Майкову

Язык поэзии — властительная сила,
Ей покоряются безропотно сердца...
Какие б чудеса наука ни творила,
Не ей соперничать с могуществом певца.
Певец — душа страны. Из края в край несётся
Волнующая песнь: звучит среди степей,
В таинственных лесах, в пустынях раздаётся,
И ей внимают гладь безбрежная морей.
В убогой хижине, где прячется забота,
Нужда когтистая добычу сторожит,
В чертогах царственных, где блещет позолота
И в неге дни свои проводит сибарит;
Бесхитростным умам, не знающим сомненья,
Могучим гениям, великим мудрецам,
Кормильцу-пахарю, апостолу терпенья,
За мысль свободную бестрепетным бойцам —
Усладу всем несёт поэзия собою,
И в тайнике души сознание встаёт,
Что жизни сумрачной, чреватой суетою —
И свет и красоту поэзия даёт.
Наука дивные открытия свершает,
Мир преклоняется пред гением ума;
Но не наука дух народа окрыляет
И не она его на подвиг вдохновляет:
Умри поэзия — и мир оденет тьма!

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — русский поэт.

В НЕПОГОДНЫЙ ВЕЧЕР

В уютной комнатке, при свете двух свечей,
Мы собрались в кружок, чтоб отдохнуть за чтеньем.
Мы слушаем рассказ из жизни тех людей,
Которые давно под бременем скорбей,
Под тяжестью нужды сроднились с мученьем.
Мы отдыхаем здесь. А в этот самый час
На улице бедняк, быть может, коченеет;
Доходит свет к нему из комнаты от нас,
Он смотрит с завистью, но к нам войти не смеет...
В подвальных этажах, во мраке чердаков,
Где жизнь является медлительною казнью,
Как много в этот миг несчастных бедняков
Внимает вьюге злой с тревогой и боязнью.
У нас — тепло и свет; там — холод, полутьма;
Мы — сыты, веселы; те — голодны, угрюмы;
Хотим мы знания, как пищи для ума;
О хлебе и тепле их помыслы и думы.
Что мы счастливей их, мы не виновны в том;
Но если наша жизнь полна тепла и света,
Поделится мы с тем и светом и теплом,
Кто дрогнет в холоде без братского привета!

БОЖЬЯ ЁЛКА

Не надо слёз, мой друг... Утри скорее глазки!
Печальной думою своей тоски не множь:
Не может в миг один, как уверяют сказки,
Бедняк разбогатеть. Жизнь — правда,
сказка — ложь!

Не в силах ты забыть большой красивой ёлки,
Что видел чрез окно: нарядна и светла...
Коробочки конфет, орехи, кошки, волки,
Ружьё и барабан... Игрушек без числа
На ней навешено! И, строгость сохраняя,
Ту ёлку держит он, сам дедушка Мороз.
Ты вспомнил это всё и, тяжело вздыхая,
Сидишь теперь в углу, роняя жемчуг слёз.
Смотри, как звёздочек на дальнем небе много,
Как ярко все горят, мигая в полумгле:
То ёлка будто бы на небесах у Бога
Зажглась для вас — детей, забытых на земле,
Забытых роскошью и обойдённых теми,
Чья жизнь проносится в тщеславной суете.
Но Он, родившийся от Девы в Вифлееме,
Чтоб умереть потом распятым на кресте, —
Он вас не позабыл, и щедрою рукою
Рассеял хоры звёзд в небесной вышине,
Неся усладу всем, охваченным тоскою
И горько плачущим в вечерней тишине.
Ребёнок милый мой! Не в роскоши отрада;
О том, что беден ты, досадуя, не плачь:
Богатство не всегда небесная награда,
И бедный может быть счастливей, чем богач!
Тот, Кто в ночи зажёт на небе звёзд так много,
Нам счастье чистое и светлое дарит:
Высокий этот дар — святая искра Бога,
Которая в душе избранника горит.

Как звёзды яркие из глубины бездонной
Свой разливают свет в холодной полумгле —
Так Богом взысканный, талантом окрылённый,
Он служит светочем для ближних на земле.

Э С К И З

С. Д. Дрожжину

Ветхие низкие хаты,
 Чахлый лесок;
Хлебом поля не богаты,
 Глина, песок...

Бедность ужасная всюду:
Трудно рабочему люду,
 Горе, тоска.
Жить бы и сил не хватило,
Если б ещё не кормила
 Рыбой река.

Еду я полем. Плетётся
 Лошадь шажком.
Слышу я — песня несётся:
 Кто-то поёт за леском.

Это, покончив работу,
В день потрудившись до поту,
 Пёстрой толпой
Едут косцы издалёка...
В песне — ни слёз, ни упрека,
 Слышится смех молодой.

Дрожжин Спиридон Дмитриевич (1848—1930) — русский поэт из крестьян.

НАКАНУНЕ ОСЕНИ

На ласки солнышко уже скупее стало,
Желтеет, вянет сад... Стремятся птицы вдаль...

Да, осень близится... Она почти настала...

Я не скажу, что мне минувших дней не жаль,

Что осень я люблю сильнее лета

И сердцу моему её отраден мрак;

Люблю я солнышко, я друг тепла и света, —

Но я и осени задумчивой — не враг.

Ненастным вечером, под плач и стоны бури,

Забуться, помечтать люблю у камелька

О прошлых радостях, о голубой лазури

И ласке летнего денька.

Все дорогие мне, кого весна, собою

Чаруя, увлекла в далёкие края,

Вернутся осенью и дружную толпою

Опять сберутся вокруг меня.

Люблю я юный смех — беспечный, серебристый,

И лепет радостный, и споры без конца,

И сердца пылкого гнев благородный, чистый —

Волнующий и робкие сердца!

Пусть нет уже цветов и солнышко не блещет —

Так хорошо вблизи огня:

Полна блаженных грёз — волнуется, трепещет

Сама весна вокруг меня!

* * *

Мой друг, гони напрасный страх
Из сердца прочь:
Промчатся тучи в небесах,
Минует ночь.
Зажги бестрепетной рукой
Маяк во мгле,
Пусть светит он во тьме ночной
Родной земле.
Служи и песней и трудом,
Сомненья прочь!
О, верь, помянут всех потом,
Кто был хоть слабым огоньком
В глухую ночь!

* * *

О, не пришла еще весна
С теплом и первыми цветами;
Но там, за южными морями,
В путь собирается она.

Еще на севере далеком,
Бушуя, носится метель,
И стонет зябнущая ель
Во сне тяжелом и глубоком.

Еще в чужих краях гостит
Любви и грез певец пернатый,
И к нам не скоро прилетит
Он — сладкой негою объятый.

Еще волшебница-весна
Живет за теплыми морями, —
Но там, осыпана цветами,
В путь собирается она.

* * *

Какой прелестный день: октябрь — а словно лето!
С любовью солнышко на землю шлёт лучи,
Они по-прежнему так страстно горячи,
В них столько нежного, бодрящего привета!
Но листья жёлтые — деревьев седина —
Усыпали в саду широкие аллеи...
Где песни громкие? Где летние затеи?
Прелестный, чудный день, но эта мысль одна,
Что вьюжная зима неожиданно постучится
Рукой назойливой, быть может, завтра в дверь, —
Туманит светлый день, и в сердце скорбь теснится,
А ум твердит одно: обман! не верь, не верь!
Я чувствую, что жар опять меня объемлет,
Что сердце хочет их — забытых юных снов,
И бьётся трепетно и чутко, жадно внемлет
Речам волнующим и звуку нежных слов.
И думается мне: моя весна вернулась —
И песни, и цветы, и ясны небеса...
Как прежде, сердце вновь от ласки вострепелось,
Но мысль, что серебром покрылись волоса,
Что старость, может быть, костлявою рукою
Нежданно постучит с назойливостью в дверь, —
Туманит день души, и ум твердит с тоскою:
Весне возврата нет... обман! не верь, не верь!

В ДЕТСКОЙ

Спать пора. Давно кровать
Ждёт тебя, ребёнок мой...
Ярко теплится лампадка
Пред иконою святой.

Смотрит лик Христа не строго,
Ясен взгляд очей благих...
Помолися, крошка, Богу
За себя и за других.

А потом тебя с любовью
Я в кровать уложу,
И, склоняся к изголовью,
У тебя я посижу.

Безмятежен, с грёзой сладкой,
Скоро сон слетит к тебе,
И на цыпочках, украдкой,
Я уйду тогда к себе.

Спи, дитя! Пусть жизни бремя
Не спугнёт твоей мечты...
Спи, мой ангел! Будет время —
Всё сама узнаешь ты!

Детство быстро, быстро мчится.
Словно день проходит год...
Спи, дружок, куда спится
И без дум и без забот!

* * *

Я — не солдат... Я, как поэт,
Служу свободной песней миру;
Во мне совсем желанья нет
Менять на штык и саблю лиру.

Но гнев Господень много раз
Моя отчизна испытала,
И в час печали — в грозный час
Она своих сынов сзывала.

Со всех концов родной земли,
Оставив поле, торг, ловитву,
И юноши, и старцы шли
На искупительную битву.

О, если снова Божий бич
Несчастной родины коснётся
И вновь её призывный клич
Тяжёлым стоном пронесётся, —

Я не скажу, что я — поэт,
Служу лишь только песней миру,
И что во мне желанья нет
Менять на штык и саблю лиру.

Я — не солдат. Ружьём владеть
Его привычки не имею,
Но за отчизну умереть
В бою с врагом — и я сумею!

Ловитва — охота.

У КОЛЫБЕЛИ

Мать качает колыбель,
Песню напевает,
В песнях дитяtko своё
Всячески ласкает:
«Спи, мой милый, дорогой,
Сизый голубочек,
Зорька, звёздочка моя,
Полевой цветочек!»
Мать качает и поёт,
Месяц в окна светит...
Чем-то ей на песню сын
В будущем ответит?

З В Ё З Д О Ч К И

В темноте холодной ночи
И леса и нивы спят;
Будто ангельские очи,
В небе звёздочки горят...

Мне, живущему в тревоге,
На земле, под гнётом бед,
Говорят они о Боге,
Проливают в душу свет.

Я иду, и мрак угрюмый
Словно движется со мной...
Как всегда, я полон думой
О тебе, мой край родной!

По лицу земли великой
Каждый день и там и тут —
Для борьбы с неправдой дикой
Школы-звёздочки растут.

Пусть они, как те на небе,
На земле для нас горят
И не только лишь о хлебе,
И о Небе говорят.

Наша жизнь повита ложью;
Так пускай же эту ложь,
Полюбивши правду Божью,
Ненавидит молодежь!

ЖИЗНЬ И КНИГА

Ты уже успела книжки
Пред собою разложить...
В книжках — знанье; но, малютка,
Я хочу тебя сманить

В поле, в лес, где так привольно,
Где ты можешь в этот миг
Познакомиться со многим
Лучше, чем из умных книг.

Никаким пером искусным
Описать нельзя чудес,
Про которые расскажет
Сам зелёный старый лес.

И художник — как бы ни был
Он велик и знаменит —
Силой творчества природу
Никогда не победит.

Полюби родную ниву,
Полюби зелёный бор
И на землю и на небо
Устремляй пыливый взор,—

И узнаешь ты, как Божий
Мир прекрасен и велик,
И поймёшь, что у природы
Есть свой собственный язык;

Сердцу делается близкой
В поле каждая трава,
И тогда живыми станут
Книги мёртвые слова!

Р О Д Н О Е

Вьётся лентою дорога
Мимо бедных деревень...
Всё кругом серо, убого,
Сер и скучен самый день.

Нет дождя, но в тучах небо, —
Словно хмурится оно
Оттого, что мало хлеба
В закрома навезено.

Конь устал, передвигает
Еле ноги, и коня
Мой ямщик не погоняет,
Позабывши про меня.

Он не дремлет в сладкой лени,
Он о чем-то загрустил
И в раздумье на колени
Обе вожжи опустил.

Вьётся лентою дорога
Мимо бедных деревень...
Все кругом серо, убого,
Хмуро небо, скучен день.

И припомнилась неволью
Мне далёкая страна,
Где живется так привольно,
Где природа так пышна.

Там под знойными лучами
Я люблю встречать весну
И, охваченный мечтами,
Любоваться на волну.

Там люблю я поскитаться,
Отдохнуть в чужом кругу...
Но там жить и там остаться
Не хочу и не могу.

Там под ясным небосводом
Одиноко я молюсь,
И ни думами с народом,
Ни желаньем не солюсь.

Счастье их — чужое счастье,
Не одна печаль у нас:
Наше русское ненастье —
Непонятный им рассказ.

«Не единым только хлебом
Жив бывает человек...»
Только здесь, под хмурым небом,
В царстве нищих и калек —

Я глубоко проникаюсь
Смыслом этих дивных слов,
И смиренно преклоняюсь
Пред заветами отцов.

Только здесь, устав от битвы
И войдя в убогий храм,
Заодно с толпой молитвы
Возношу я к небесам.

Смотрят праведники строго,
Но людей им грешных жаль...
Об одном все молим Бога —
И одна у всех печаль.

Жизнь в краю чужом, богатом
И светла и хороша;
Всё ж невольно к бедным хатам
Рвётся русская душа.

Рвётся в край, где горя много,
Скучно тёмное житьё,
Где всё хмуро и убого, —
Но родное и своё!



СОДЕРЖАНИЕ

Приключения Мишки Топтыгина	5
Из золотого детства	49
Янки Вологодского уезда	142
Дети — друзья голодающих	166
Помоги!	172
В канун сочельника	191
Странная покровительница	198
Самый счастливый день	204
Невеста Васы (<i>Из зырянских рассказов</i>)	210
Месть	221
Гениальный помор (<i>Очерк жизни М. В. Ломоносова</i>)	249

Стихотворения

Песня	287
Старый рыболов	288
В бабки	290
«Снег, да снежные узоры...»	292
Ночь в деревне	293
Старушка	294
В глуши	296
Весна в столице	297
Няне	298
Сеятели	299
Космополиту	301
Поэзия	302
В непогодный вечер	303
Божья ёлка	304
Эскиз	306
Накануне осени	307
«Мой друг, гони напрасный страх...»	308
«О, не пришла ещё весна...»	309
«Какой прелестный день: октябрь — а словно лето!..»	310
В детской	311
«Я — не солдат... Я, как поэт...»	312
У колыбели	313
Звёздочки	314
Жизнь и книга	315
Родное	316

Александр Васильевич КРУГЛОВ

ЧИСТАЯ ОТРАДА

Составитель С. Ю. Баранов

Редактор О. М. Чернышева

Оригинал-макет подготовлен в ООО «Учебная литература»

Подписано в печать 30.09.2010 г.

Формат 70х90/16. Усл. печ. л. 23,4. Тираж 2500 экз. Заказ 2178.

ООО ПФ «Полиграф-книга». 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.



УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
2010